



ОГОНЁК

№ 46 НОЯБРЬ 1967

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»



ВПЕРЕД- К КОММУНИЗМУ!

Советский народ, вступая во второе пятидесятилетие великой революции, высоко несет идеи коммунизма, идеи Великого Октября. Мы опираемся на достигнутые успехи социалистического строительства. Мы вооружены бессмертным учением марксизма-ленинизма, на нашей стороне правда жизни, наши силы неисчислимы. Плечом к плечу с нами идут народы братских стран социализма, силы международного коммунистического движения, демократии и национального освобождения. Никто и ничто не может остановить нас на пути к осуществлению нашей конечной цели — построению коммунистического общества.

Желаем советскому народу, каждому советскому человеку новых успехов в труде, учебе, счастья в личной жизни, успехов в борьбе за торжество нашего великого коммунистического дела.

Да здравствует Великая Октябрьская социалистическая революция!

Да здравствует наша любимая Родина — Союз Советских Социалистических Республик!

Да здравствуют братские страны социализма!

Да здравствует единство всех революционных и прогрессивных сил в борьбе против империализма, за демократию и социализм!

Да здравствует мир и дружба между народами!

Да здравствует великий советский народ — создатель нового общества!

Под знаменем марксизма-ленинизма, под испытанным руководством Коммунистической партии — к полной победе коммунизма!

Из Обращения Центрального Комитета КПСС, Президиума Верховного Совета СССР и Совета Министров СССР «К советскому народу, ко всем трудящимся Союза Советских Социалистических Республик».

Памятник В. И. Ленину,
открытый 2 ноября 1967 го-
да в Московском Кремле.

Пролетарии всех стран,
соединяйтесь!

ОГОНЁК

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКИЙ И ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ

45-й год издания

№ 46 (2107)

12 НОЯБРЯ 1967



Совместное торжественное заседание Центрального Комитета КПСС, Верховного Совета Союза ССР, Верховного Совета РСФСР, посвященное 50-летию Великой Октябрьской социалистической революции.
С докладом «Пятьдесят лет великих побед социализма» выступил Генеральный секретарь Центрального



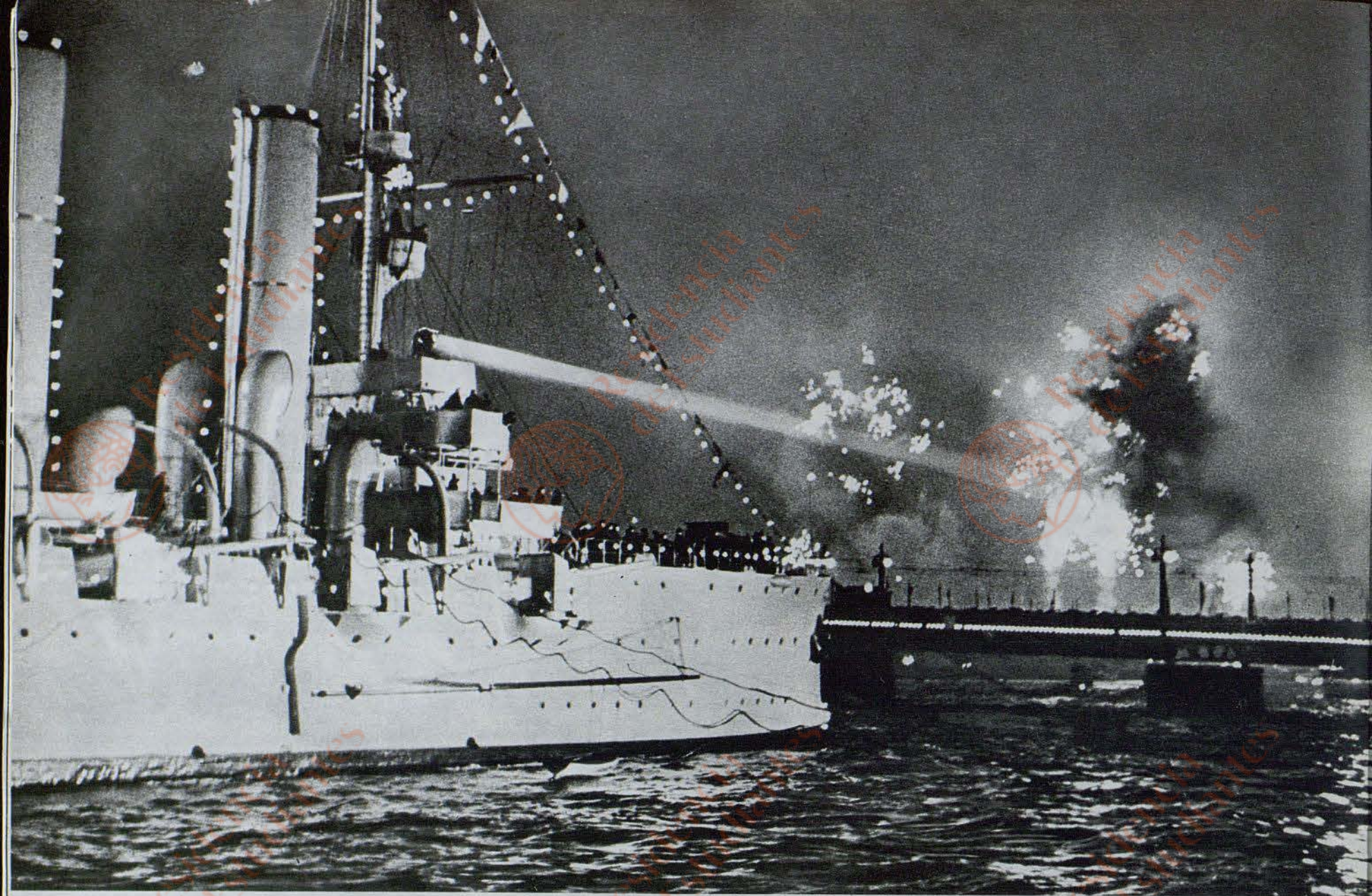
Комитета КПСС товарищ Л. И. Брежнев. «Перед лицом трудящихся всего мира,—сказал Л. И. Брежнев,—партия Ленина торжественно заявляет: Коммунисты Советского Союза, великий советский народ выполняют свою историческую миссию—успешно построят первое в мире коммунистическое общество!»



МОСКВА.

3-4 НОЯБРЯ 1967 ГОДА

Фото Дм. Бальтерманца.



Легендарная «Аврора».



**Ленинград.
5 ноября
1967 года**

Торжественное заседание, посвященное 50-летию Великой Октябрьской социалистической революции. Вручение городу Ленина ордена Октябрьской Революции.

Москва.
6 ноября
1967 года



Торжественное заседание, посвященное 50-летию Великой Октябрьской социалистической революции. Вручение Москве ордена Октябрьской Революции.

Праздничные огни столицы.





МОСКВА. КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ. 7 НОЯБРЯ 1967 ГОДА



ОТЕЧЕСТВО

Страна моя прекрасная,
Легко любить ее.
Да здравствует, да здравствует
Отечество мое!

На все четыре стороны
Весенний льется свет
Отечества,
Которого
Милей и краше нет,

Где нивы колосистые
В раздолье и в чести,
Где песни голосистые
Совсем не спят почти.

Да славится содружество,
Да будет вечен он,
Закон труда и мужества,
Незыблемый закон!

Страна моя прекрасная,
Я выстрадал ее.
Да здравствует, да здравствует
Отечество мое!

Свободное, народное.
Под звездами Кремля
Родная, благородная
Советская земля.

Светло мое Отечество,
Крылатое оно,
Везде от разной нечисти
Оно ограждено.

Всему, что светит, — светиться,
Сердечному гореть.
Пятидесятилетню
Звенеть и пламенеть!

Еще мы очень молоды,
Еще рабочим днем
Мы трудовые молоты
Играючи берем!

И мы живем, не мечемся
И славим бытие.
Живи, мое Отечество,
Цвети, мое Отечество,
Великое мое!

*Продолжение репорта-
жа о праздновании
50-летия Октября — на
стр. 26—31.*

Памятник-ансамбль героям Ста-
линградской битвы. Он вознесся
над Волгой, над Мамаевым курга-
ном, с которого открывается чу-
десная панорама города-героя.
Нескончаем тут поток людей. Вол-
гоградцы и их гости приходят сю-
да, к подножию величественного
монумента Родины-матери, мону-
мента, воскрешающего бессмерт-
ный подвиг волжских богатырей.

Фото Г. Копосова.

**7 ноября
1967 года**

Москва.

Ленинград.

Волгоград.





Фрагменты памятника-ансамбля на Мамеевом кургане в Волгограде.



Геворг Багратович
Гарибджанян.

РОДИЛСЯ БОЛЬШЕВИК

«Товарищ Ленин, через Кавказские горы, через необъятные русские степи к Вам обращается Баграт Гарибджанян...»

Кто он — человек, написавший эти слова в незабываемо радостные и тревожные дни Октября семнадцатого года? Откуда шло его письмо в Петроград?



Памятник Баграту Гарибджаняну в селе Гарибджанян, возле Ленинанкана.

Михаил АНДРИАСОВ

...Народный учитель Баграт Гарибджанян был секретарем подпольного горкома РСДРП в небольшом старинном армянском городе Александрополе. К революционером пришел подростком, еще в родном Игдире. В Тифлисе, где учился, сблизился с большевиками, а когда вернулся в Армению, вступил в Коммунистическую партию.

Острый на язык, обаятельный, образованный, мужественный, он, казалось, вобрал в себя снежную чистоту и суровость родных гор. Учитель Баграт всегда был с теми, кто трудился, — с рабочими, ремесленниками, крестьянами. Сколько мальчишек обучил он грамоте, открыв им окно в большой мир! Скольким людям труда поведал правду о том, кто есть их настоящий друг, а кто враг. Ему запрещали учительствовать, быть учителем жизни. Его арестовывали, но он и в тюрьмах не смирялся, а по-прежнему шел к свету, продолжал борьбу. Баграт и в тюрьме изучал труды Маркса, Энгельса, Ленина, совершенствовал знания русского, французского, греческого языков. Сохранилось двадцать старых, пожелтевших от времени толстых тетрадей с тюремными записями Баграта...

Его любили рабочие, крестьяне. Его люто ненавидели враги армянского народа — дашнаки, временно захватившие власть в стране. Она недолго длилась, эта страшная пора правления дашнакских временщиков. В мае 1920 года вспыхнуло восстание: по зову большевиков народ Армении поднялся на вооруженную борьбу. Центром героического этого восстания был Александрополь, ныне Ленинанкан. Четыре майских дня город находился в руках большевиков. Дашнакские правители вынуждены были срочно перебросить свежие подкрепления из Эривани на подавление красных александропольцев.

Восстание потопили в крови. Бесстрашный Баграт оставался с восставшими до

конца. Контрреволюционеры торопились сделать свое черное дело: они понимали, что победа их пиррова. В тюрьму брошены вожак, «большевистские смутьяны». Суд над ними ничего общего с судом не имел — то была кровавая расправа, хотя официально была и скамья подсудимых.

...Прошли годы. Но время не стерло в памяти образ молодого учителя, секретаря подпольного горкома большевистской партии, прозвонившего на дашнакском суде свою знаменитую речь — речь перед смертной казнью. Предсмертные слова неистового большевика высечены на камне. Они написаны на памятнике, воздвигнутом ему, Баграту Бегларовичу Гарибджаняну, воздвигнутом в селе, названном его именем — Гарибджанян: «Земля Армении обогрится нашей кровью и станет красной, но не забудьте мои слова, — Армения будет советской. Да здравствует Советская Армения!»

Он знал, что его ждет расстрел. Когда председатель суда огласил приговор, Гарибджанян окинул палачей взглядом, полным достоинства, и гордо сказал: «Я счастлив, что погибну за революцию, за армянский народ!»

...В самый канун майского восстания жена учителя, Арменути, родила Баграту сына. Эта радость окрылила секретаря, принесла ему новые силы. Незадолго до казни Баграту посчастливилось из-за тюремной решетки увидеть Арменути. Молодая женщина подошла к нему поближе. Ей было очень тяжело, она рыдала весь день, а сейчас на лице — ни единой слезинки. Она показала мужу сына.

— Как назвала его? — спросил Гарибджанян.

— Геворгом.

— Очень хорошее имя. Смелого человека имя. — Он ласково посмотрел на жену, улыбнулся ей и сказал: — Арменути, я думаю, что у нас родился большевик.

Через несколько дней Баграта не стало. Дашнаки торопились, их дни были со-

чтены. Они спешно перевезли заключенных в Эривань и в ночь на 14 августа 1920 года расстреляли. Их было трое. И их имена знает сегодня и помнит вся Армения: Степан Аллавердян, Саркис Мусазян, Баграт Гарибджанян.

...Недавно, спустя сорок семь лет после описанных событий, я был в Ленинанкане. Бывший уездный Александрополь стал вторым городом Армении.

Первый визит — в горном партии. Первое знакомство — с секретарем.

— Будем знакомы — Гарибджанян... Геворг Багратович!

Да, тот самый Геворг, что появился на свет божий за несколько дней до гибели отца, секретаря подпольного горкома партии, в этом же городе, в Александрополе. Геворг — сын Баграта, народного учителя и борца за дело народа!

Как сложилась жизнь Геворга?

В родном городе он закончил семилетку. Продолжал образование в Ереване. Там же поступил на исторический факультет университета. Его избрали секретарем комитета комсомола. Он был уже на последнем курсе, когда грянула война. И Геворг пошел защищать Отчизну. Лейтенант Гарибджанян командует пулеметным взводом, несколько позже — ротой. В боях на Смоленском направлении осенью сорок третьего его тяжело ранило. После госпиталя — во фронтовой газете. А после войны — в редакции газеты прославленной в боях Таманской дивизии.

Оставаясь офицером Советской Армии, Геворг закончил Ереванский университет, аспирантуру и успешно защитил кандидатскую диссертацию. Тема? ...Если бы и диссертация писалась эпиграфы, то Геворг написал бы последние слова отца на суде, перед казнью. Она, эта диссертация, вся была озарена его светлыми делами. Официальный заголовок гласил: «История Александропольской большевистской организации». Это

был рассказ о революционных годах родного города, летопись старейшей в Армении коммунистической организации, и это, конечно, рассказ об отце и его боевых товарищах...

...1948 год. На плечах Геворга еще офицерские погоны, но пленум ЦК комсомола Армении избирает его секретарем. Работа и учеба. Дни и ночи. Без усталости, без отдыха. Время трудное. Отдыхать будет потом. Работа в ЦК не мешает учебе. Пишет докторскую диссертацию «Большевистские организации Армении в борьбе за победу Советской власти».

С 1961 года Геворг Гарибджанян — первый секретарь Ленинанканского горкома партии. Он депутат Верховного Совета СССР, кандидат в члены Бюро ЦК КП Армении.

Секретарь горкома партии не оставляет любимое дело — науку, педагогику. Читает лекции в вузах, получает звание профессора, пишет серьезные исследования. Круг их сравнительно широк — история КПСС, международное коммунистическое и рабочее движение. В свет выходят научные труды — их более 200, — книги. А два года назад на общем собрании Академии наук республики Геворга Багратовича избрали членом-корреспондентом Академии наук Армянской ССР.

Таков он, секретарь горкома партии Ленинанкана, города текстильщиков, строителей, железнодорожников, машиностроителей, студентов, города красивого, самобытного, со своими обычаями, традициями, города, давшего стране блестящую плеяду поэтов, артистов, художников, композиторов... И вся жизнь Гарибджаняна-младшего неотделима от бурной, полнокровной жизни Ленинанкана. Вожак коммунистов верен заветам отца: быть всегда там, где опаснее, труднее. Быть всегда с людьми, среди людей. Их уважение, доверие — самое ценное для партийного руководителя. Жить их заботами, радо-

стями, горестями — его долг.

...Молодой рабочий Эдик А. не сразу вышел на верную дорогу. Недобрые дружки хотели повести его окольными путями. Споткнулся. Набедокурил. Судили и осудили. Отсидел, вернулся домой. Пошел на стройку. Но не тут-то было. Отказали. Говоря точнее, боялись. «А черт его знает, что он еще натворит?! Пусть идет к другим». Эдик пошел к другим. Но те тоже перестраховались. К третьим. Снова отказ. Отчаялся парень — куда идти? И тогда один умный человек посоветовал: «Иди к Гарибджаняну». Пошел. Познакомился с Геворгом Багратовичем. Судьба молодого рабочего вошла в круг будничных забот секретаря. На стройке, куда приняла Эдика А., не верили глазам своим. Вроде тот самый парень, да не тот... Назначили бригадиром. Поступил на заочное отделение строительного института. Стал мастером.

Геворг Багратович нет-нет да и заглянет на квартиру к своему подопечному. Эдуард Варткович окончит институт. Стал инженером. Назначили прорабом. Сейчас он главный инженер передового в городе строительного участка. Уважаемый человек. Коммунист. У него хорошая семья. Двое детей...

Рассказанное — лишь одна из многих страниц жизни секретаря горкома партии.

Геворг Багратович вместе с мэром Ленинанкана Суреном Хачатуровичем Матнишяном — до этого он 28 лет работал на паровозе — часто бывают на предприятиях, в учреждениях. Там они вдвоем (так легче на месте решать вопросы) принимают рабочих, служащих, выслушивают жалобы, предложения, советы.

...Когда я думаю о судьбе отца и сына, о династии коммунистов Гарибджанянов, мне снова приходят на память проникновенные слова учителя Баграта, сказанные им жене тогда, в двадцатом, перед казнью: «У нас родился большевик!»



Ниночка Батулу. Позади Туринская средняя школа. Теперь нужно поскорее окончить педагогический институт в Ленинграде и начать работать в эвенкийской школе.

Где же олени? Уже полчаса вертолет кружится над тайгой, а стада не видно. Нам точно известно, что оно где-то здесь, в этом квадрате, но найти его мы никак не можем. Наконец увидели внизу чумы. Сели. Пастухов нашли, а оленей нет. Встревоженные лесными пожарами, разбежались они по тайге, и теперь их не собрать, пока не выпадет снег.

— А как же их потом все-таки собирают? — интересуюсь я. — При помощи авиации?

— Авиация, конечно, помогает, но опытные оленеводы по следам на снегу находят разбежавшееся стадо. Да олени и сами ищут своих хозяев.

Странное животное — домашний северный олень. Что его тянет к человеку? Ни кормов, ни крова он от него не получает. Единственное благо — дымокура, устраиваемые оленеводами для своих подопечных в период, когда свирепствует гнус. И тем не менее олени, побродив по тайге, в определенное время неизменно возвращаются к стойбищу.

Мы сидим у дымокура. Собралось все население оленеводческой бригады. И стар и млад. Мой спутник Василий Николаевич Увачан рассказывает о своей недавней поездке в Канаду, где он побывал в составе советской парламентской делегации. Увачан — живая история своего народа. Родители его — простые охотники — эвенки, неграмотные, конечно. Таким бы стал и их сын Василий, если бы не наступила пора великих перемен. В тайгу пришла Советская власть. Возникли фактории, кооперация, стали строить больницы и школы. Дети эвенков получили возможность учиться. В новую школу поселка Наканно, что в верховьях Нижней Тунгуски, пошли учиться и братья Увачаны — Лазарь и Василий. Жили в интернате дружно — русские, эвенки, якуты...

Школы — это хорошо, это очень здорово, но мало. Эвенкам и всем народам, которым Октябрь открыл путь к социализму, нужны были свои, национальные кадры высокообразованных специалистов. И тогда в Ленинграде был создан Институт народов Севера, куда ехали учиться наиболее способные молодые люди, представители малых народов. В числе их приехал и Василий Увачан. После Института народов Севера он закончил еще и Ленинградский плановый институт, затем Высшую партийную школу и, наконец, Академию общественных наук.

Сейчас Василий Николаевич Увачан — первый секретарь эвенкийского окружного КПСС, депутат Верховного Совета СССР трех созывов, участник XXII и XXIII съездов партии.

Василий Николаевич не только крупный общественный деятель, но и ученый — кандидат исторических наук. Его, сына эвенка-охотника, приглашают в Норвегию прочесть цикл лекций о малых народах Севера. Его перу принадлежит более восьмидесяти научных трудов. Сейчас он работает над завершением докторской диссертации «Проблема некапиталистического развития, переход малых народов

Севера к социализму, минуя капитализм». Диссертация — его автобиография и биография его народа.

...Снова в полет. На этот раз на гидросамолете. Летим на озеро с грузом для геологической партии. Рации, мешки с мукой, консервы и еще какое-то имущество. Садимся на озеро. Абсолютная, какая-то неправдоподобная тишина. На берегу крошечный деревянный домин, вокруг несколько металлических бочек с бензином, завезенным сюда для заправки самолетов.

Навстречу выходит невысокий человек в подвернутых резиновых сапогах, с большим ножом на поясе. Это Федор Ермолаевич Слабин — рыбак и охотник. С ним здесь живет жена Мария Прокопьевна и сын Вова. Ловят рыбу, добывают зверя. Изредка из Туруханска прилетает к ним самолет.

Мария Прокопьевна угощает обедом. Блюда изысканные — где еще такие поешь! Балык из осетра и сига, малосольный таймень, свежая оленина и уха из харусов. А затем крепчайший таежный чай с морошкой и вареньем из смородины и голубики.

— Федор Ермолаевич, не скучаете тут без людей?

— Да нет. Хорошо здесь. Вовнуто, конечно, отправим в интернат учиться. А нам скучать некогда. Работы хватает. Рыбу ловим, сети ремонтируем. Опять же зверя прикармливаем к зиме. Этим годом моя Маша омолола самого дома в капкан поймала тринадцать соболей. Ну, а зимой, понятно, промысел и подледный лов. Рыбы здесь много и все дорогих сортов. Даже осетр водится. У меня сейчас один такой зверюга в озере на веревке привязан. Метра на полтора...

— Ну, а если кто-нибудь из вас заболел, тогда как?

— А радио-то на что? В Эвенкии такой порядок: чуть что, по радио сообщают в Туру, и оттуда немедленно вылетает санитарный самолет или вертолет. Раций в тайге много: и в оленеводческих бригадах и у геологов. А у нас вот «Спидола», с ней мы в курсе всех событий, что на земле происходит.

Геологов мы не застали. Они ушли в маршрут в глубь тайги. Оставили для них груз — и в обратный путь.

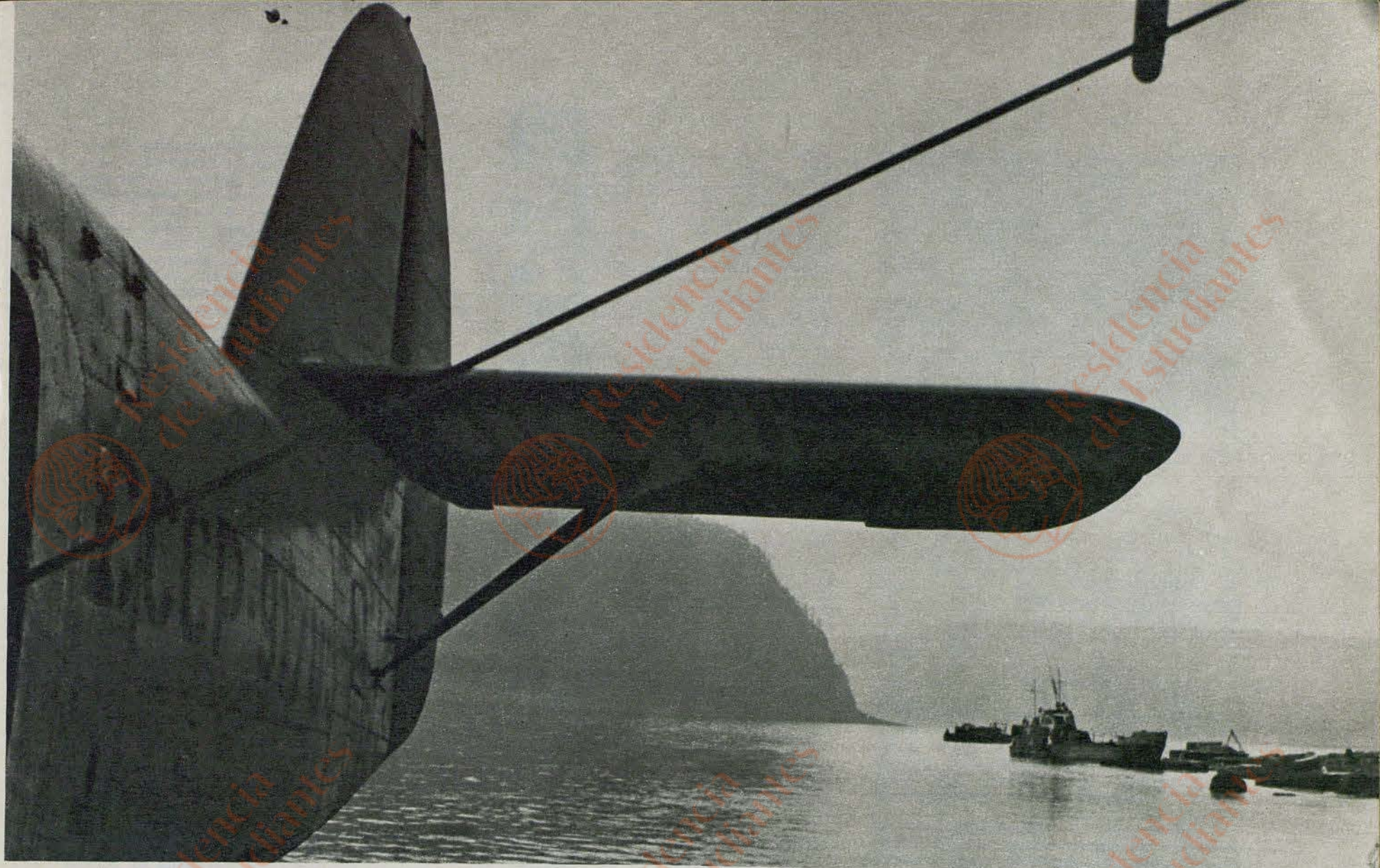
Геологи тут в почете. Настоящее Эвенкии — пушнина. Добываемые здесь шкурки соболя, песца, белки и горностая пользуются спросом во всем мире. Но будущее Эвенкии — ее недра. Каких только богатств не таят они! Уголь, цветные металлы, редкие минералы, есть признаки богатых нефтяных месторождений...

Невольно задаешь себе вопрос: что бы было с малым эвенкийским народом, если бы не Советская власть? Вероятнее всего, его бы уже не существовало. Эвенки постепенно вымирали. Туберкулез, тиф и прочие болезни косили местное население, лишенное какой-либо медицинской помощи. И не случайно молодого охотника Эминдана, признанного лучшим охотником Эвенкии, зовут Октябрь. Этим именем эвенкийские матери часто теперь называют своих сыновей — это в честь Великого Октября, спасшего их народ от гибели.

Шагай, Эвенкия!

О. КНОРРИНГ

Фото автора.



Самолет — основной вид транспорта. По реке плавать можно только весной.

Василий Николаевич Увачан у оленеводов.



Как работают пальцы пианиста, чьи движения более совершенны, чем полет сверхсовременного лайнера? Не знаем. Что происходит в пятнадцати миллиардах клеток мозга, когда в нем рождаются мысли банальные и великие? Не знаем. Как удается сердцу, не останавливаясь ни на минуту, работать сто и более лет? И снова в ответ: не знаем. Величайшие загадки человеческого тела...

Сегодня, несмотря на самую совершенную технику исследований, незакрытыми остаются вопросы: Как мы видим? Как слышим? Как ощущаем вкус спелого винограда и трогательный запах сирени?

Итак, мы начинаем рассказ. Тема? Глаз. Ухо. Нос. Язык. Кожа. Знаменитый сегодня, в эпоху освоения космоса, вестибулярный аппарат.

М. ОСТРОВСКИЙ,
кандидат биологических наук,
М. МАТВЕЕВ

Зеркало души

О глазе написаны десятки, сотни толстых книг. Еще мудрецы древности, проникая в суть окружающих явлений, не уставали восторгаться совершенством природы, создавшей такое чудо — глаз. Научные определения древних напоминают строки, вырванные из поэмы.

Стянутой рыбачьей сетью назвал Герофил тоненькую пленку, лежащую на дне глаза. Мудрый грек восхищался ею, он догадывался, что именно в этой полупрозрачной пленке начинается великое таинство зрения. Оно и сегодня в центре внимания ученых.

Человек, как правило, объясняет сложное, сравнивая его с более простым. Глаз — с фотоаппаратом. Роговица и хрусталик — это линзы, преломляющие лучи света. Зрачок — диафрагма, она задерживает их избыток. Чувствительная к свету сетчатка — фотопленка. Нет сравнения более точного и более кощунственного. Потому что самый совершенный фотоаппарат в сравнении с глазом — все равно что телега в сравнении с космическим кораблем.

Самое поразительное — сетчатка. Мудрый грек не подозревал, насколько он оказался проницательным. Как стало известно намного позднее, именно она вылавливает и дает человеку больше половины информации об окружающем мире.

Архитектура сетчатки виртуозна. Толщиной всего в полторы-две десятых миллиметра, она словно слоеный пирог из десяти слоев, где каждый — особые клетки. Часами, не отрываясь от окуляра, разглядывали ее ажурный рисунок первые микроскописты. Но и они, эти увлеченные мужи науки, не могли представить действительной сложности ее строения.

В конце 50-х годов нашего столетия на смену световому микроскопу пришел электронный. Появилась возможность взглянуть на сетчатку при увеличении свыше 100 тысяч раз. И тогда-то исследователи увидели клетки первого, внешнего слоя, напоминающие палочки и колбочки.

Чувствительность их к свету фантастична. В физике есть термин — квант света, наименьшая единица света, меньше в природе не существует. А палочка сетчатки ее регистрирует.

Ученые и ее разобрали на составные элементы. Им удалось из передней половинки палочки вытянуть одну из тысячи ее составляющих «тарелочек», а толщина ее не превышает 15 миллионных долей миллиметра. На этом они не остановились. С поверхности микротарелочки выделили молекулы особого вещества — зрительного пурпура. Он-то и есть молекулярный винтик сложнейшего механизма, обеспечивающего способность человека и животных видеть.

ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ТЕЛА

ОРПОСТЫ ЧУВСТВ

Значит, сегодня уже известно, как мы видим? Известно? Не будем торопиться.

В 1878 году немецкий физиолог Кюне произвел сенсационный опыт. На неподвижный глаз кролика, сидевшего в темноте, ученый отбросил изображение окна. Через некоторое время он извлек сетчатку. На ней, как на фотографии, он увидел изображение окна. В тех местах, куда падал свет, проникающий сквозь стекло, сетчатка выцвела. Перекрест рам свет задерживал — на сетчатке участок, соответствующий раме, остался розовым. Это был первый опыт, достоверно доказавший, что луч света в светочувствительных клетках вызывает фотохимический процесс выцветания, с которого и начинается собственно зрение.

Сегодня ученые намного обогнали Кюне. Они узнали химический состав молекулы зрительного пурпура, узнали, как она меняется под воздействием кванта света, установили, что в результате химических превращений в клетках сетчатки по зрительному нерву в мозг отправляется информация об увиденном — нервные импульсы.

Очень много узнали ученые. Но и сегодня остаются загадкой феноменальные превращения в клетках сетчатки. До сих пор мы не знаем, как физическая энергия света трансформируется в нервные биоэлектрические импульсы.

Флейта-пикколо и контрабас

Зрение дает нам больше половины информации об окружающем мире. Остальную нам вручают другие органы чувств.

Анатомам легче: им достаточно только видеть. Естественно, что в изучении органа слуха они вырвались далеко вперед. Путь звука прослежен самым подробным образом.

Звук ударяет в барабанную перепонку. От нее, как по мосткам, он переходит через молоточек, наковальню и стремечко на другую перепонку, закрывающую вход в так называемое овальное окно. Как видите, тут уже пошли в ход термины и музыкальные, и строительные. Толкнувшись в овальное окошко, звук проникает по лабиринту в красавицу улитку, в глубине которой на уровне двух с половиной спиральных завитков, словно за семью замками охраняемые, спрятаны нежные, маленькие волоски — волосковые, или слуховые, клетки. В ухе человека их около 25 тысяч. И именно на них последние двадцать лет направлены объективы электронных микроскопов. Такое пристальное внимание вполне объяснимо: волосковые клетки — приемники звука.

Физиологи давно уже бросились догонять анатомов. И их открытия достойны огромного уважения. Физиологам удалось установить, что барабанная перепонка в ответ на слабый удар звука смещается всего на одну миллиардную (!) долю сантиметра. Это расстояние меньше радиуса самого маленького атома — атома водорода. А волосковые клетки в улитке лежат на особой мембране, колебания которой и того меньше, приблизительно в тысячу раз. Но и их достаточно, чтобы в волосковых клетках возникло нервное возбуждение. Смещение мембраны на расстояние, в тысячу раз меньшее одного процента диаметра атома водорода, позволяет нам слышать.

Ну разве можно не удивляться фантастической тонкости ощущений наших органов чувств? Палочка сетчатки регистрирует один квант света! Уникальный слуховой прибор, ухо человека, если его натренировать, способно слышать тишину! Да, да, тишину — беспорядочное тепловое движение частиц, известное по имени описавшего его ученого как Броуновское.

Но как же все-таки мы слышим?

Наиболее признаваемая гипотеза слуха создана в прошлом веке замечательным ученым, едва ли не последним энциклопедистом мировой науки — физиком, физиологом, психологом, философом Германом Гельмгольцем. Теперь мы понимаем, что он был одним из первых, кто сумел на самом высоком уровне объединить для познания тайн человеческого тела физику с физиологией.

Гипотеза-теория Гельмгольца называется резонансной. Ученый предполагал, что в улитке спрятан «рояль». Раз рояль, значит, должны быть и струны. Гельмгольц считал, что мембрана улитки сложена из множества струн. И каждая, как в рояле, настроена на определенный звук, а громкость зависит от амплитуды колебаний струны.

Нашлись ученые, которые в световом микроскопе насчитали в мембране струн 24 тысячи. Увы! Появился электронный, и оказалось, что мембрана не струны, а сеть (так и просится: «закинутая на дно уха»). Но больше ничего нового электронный микроскоп не дал. Не струны, так вся мембрана, целиком, колеблется под воздействием звуков, как парус на ветру.

Итак, есть прекрасная гипотеза. Досконально изучен звук. Акустики отлично осведомлены о том, как звук — попеременные сгущения и разрежения воздуха — возникает и распространяется, каким бывает по высоте, тону, тембру, громкости. Известно, что мы слышим звуки частотой от 20 до 25 тысяч колебаний в секунду. 20 тысяч колебаний — это самый высокий звук самого маленького деревянного инструмента в оркестре — флейты-пикколо, а 24 — такие колебания слетают с самой низкочастотной струны самого большого смычкового инструмента — контрабаса.

И все же, как и со зрением, ответа на основной вопрос: как же мы слышим? — нет. Нет потому, что до сих пор, хоть убейся, неизвестно, как физическая энергия звуковой волны переходит в энергию электрическую — нервные импульсы, которые посылают в мозг волосяные клетки в ответ на колебания мембраны. И в этом «как» — суть вопроса. Ответ на него интересует не только биологов, но и математиков, кибернетиков, которые за последние десять — двадцать лет включились в своеобразное научное соревнование.

Родные братья

«Я любил пряный запах табура, ощущение вокруг себя изобилия товаров, особенно лимонов и апельсинов. Все пахло: ваниль, финики, кофе, чай; в соединении с морозным запахом морской воды, угля и нефти неопределимо хорошо было дышать здесь, особенно если грело солнце».

Эти строки принадлежат писателю Александру Грину. Так вспоминает он свою работу в портовых складах Одессы.

Человек помнит запахи. Без них мир казался бы каким-то стерильным, безвкусным. Человек помнит и запахи, и вкус, вкус все тех же апельсинов и лимонов, помидоров или жареного мяса.

Запах и вкус — еще одна область информации о внешнем мире. Ее дают нам органы обоняния и вкуса. У них, как и у зрения со слухом, много общего как между собой, так и с двумя первыми.

С первыми их объединяет такая же фантастическая чувствительность. Недавно двое голландских ученых, проведя серию любопытных экспериментов, подсчитали и сами изумились: одна обонятельная клетка реагирует на одну единственную молекулу пахучего вещества. Для того же, чтобы мы «унюхали» это вещество, достаточно, чтобы в воздух попало всего сорок его молекул. Поразительно! Язык соревнования с носом проигрывает. Но и он мгновенно различает горькое от соленого или сладкого.

Вкус и обоняние — родные братья, они всегда трудятся вместе. Вкус ароматной дыни в значительной степени зависит и от ее запаха. Родство этих органов чувств основано на общем предке — химической чувствительности примитивных беспозвоночных организмов. И не повезло им также одинаково: оба они изучены меньше зрения и слуха.

Наш нос — если только нет насморка — всегда находится в полной боевой готовности. Стоит нам втянуть воздух, наполненный запахами, как их тут же обнаружат обонятельные клетки. Находятся они в верхнем, третьем носовом ходе, в двух уютных углублениях, где они сконцентрированы в виде двух желтоватых пятнышек.

Обонятельная клетка похожа на веретено. Конец веретена, обращенный в полость носа, заканчивается тоненькими ресничками, или волосками. Рассмотреть их удалось лишь с помощью электронного микроскопа, настолько они малы. Ученые отводят им роль специальных антенн. Находясь в постоянном движении, эти антенны как бы заняты поисками пахучих веществ.

Орган вкуса — почки, или луковички, располагаются, естественно, на языке. Он, как известно, шершавый: его поверхность усеяна множеством маленьких бугорков, окруженных канавками. В них-то и лежат вкусовые луковички, а в каждой, как дольки апельсина, сложены по 10—15 вкусовых клеток с ворсинками на конце. Эти ворсинки, как и антенны обонятельных клеток, чрезвычайно малы: длина их всего около четырех микронов, ширина не превышает двух десятых микрона. И как антенны обонятельных, ворсинки вкусовых клеток находятся в постоянном поиске молекул вкусовых веществ.

Как же улавливают клетки вкус и запах? Первое давно известное требование: вещества, обладающие вкусом и запахом, должны непременно растворяться в воде и жирах. Не случайно и язык и слизистая оболочка носа всегда влажные. Известно и то, что в результате химического раздражения клетки посылают в мозг все те же нервные импульсы — биоэлектрические сигналы. Но как они умудряются это делать, как химическая энергия превращается в энергию электрическую? Вот все тот же сагитальный вопрос, ответ на который должен быть получен в ближайшие годы.

На помощь приходит постоянно совершенствующаяся техника экспериментов. Сравнительно недавно исследователи научились вводить в клетки микроэлектроды — тонюсенькие стеклянные капилляры, заполненные раствором хлористого натрия (поваренной соли), который хорошо проводит электрический ток. Оказалось: вовсе не каждая вкусовая и обонятельная клетка реагирует на любой запах и вкус. Оказалось: существует восемь типов клеток, и каждый предназначен для восприятия своих запахов.

Разнообразие вкусовых клеток меньше — там групп всего четыре. Скопления «сладких» луковичек больше на кончике языка, «горьких» — на задней его спинке. Кислый вкус определяют луковички заднего края языка, соленый — на переднем крае.

Но все это лишь присказка. А как, собственно, возникают вкусовые и обонятельные ощущения?

Существует периодическая система элементов Д. И. Менделеева. Можно ли составить такие же системы для вкуса и запаха? Вроде бы да.

Ученые считают, что в природе существует всего четыре простых вкуса: горький, соленый, кислый и сладкий. Все остальные, как и цвет, являются комбинацией простых.

С запахами сложнее. В 1952 году известный английский физиолог Джон Эмур объявил, что он отобрал семь простейших запахов: камфароподобный, мускусный, цветочный, мятный, эфирный, острый и гнилостный. С помощью современных методов анализа удалось выяснить, какую форму и размер имеют молекулы веществ, вызывающих эти запахи. Оказалось, что приятный цветочный запах вызывают молекулы, имеющие форму диска с хвостиком, а мятный — клинообразные молекулы.

Впрочем, при чем здесь форма молекул? А вот при чем. Около пятнадцати лет назад существовала физическая гипотеза запаха. По ней обонятельные клетки воспринимают электромагнитные волны, испускаемые молекулами пахучего вещества. В противовес ей шотландец Монкриф и англичанин Эмур выдвинули гипотезу стереохимическую. Любопытно, они лишь возродили предсказание великого поэта древности Лукреция Кара, который, не мудрствуя лукаво, объяснял обоняние очень просто. Всякое пахучее вещество, говорил он, испускает крошечные молекулы определенной формы. И XX век это подтверждает.

Запах вещества определяет форма его молекул — так считают сторонники стереохими-

ческой теории. Помните детскую формочку для игры в песочек? В нее можно насыпать железные опилки, можно морскую гальку — запахи будут одинаковы. Форма-то одна.

Поразительный факт. Существуют так называемые оптические изомеры: молекулы-близняшки, похожие друг на друга, как зеркальные изображения одного и того же предмета, как правая и левая рука. Все в них может быть одинаково, один лишь атом повернут не в правую, а в левую сторону. И все. И эти две молекулы-близняшки будут вызывать ощущения разных запахов.

А коль скоро запах — это свойство формы молекул пахучих веществ, то и клетки с этими молекулами должны взаимодействовать наподобие замка с ключом. Подходит ключ — и в мозг летят сигналы, не подходит — клетка остается спокойной.

Подтвердится ли эта гипотеза или нет, покажет будущее.

И мир опять предстанет странным...

Почему-то считается, что у человека только пять органов чувств: зрение, слух, вкус, обоняние и осязание. Последнее — это когда мы кожей ощущаем поверхность предметов.

А как же быть с болью, с ощущением теплого и холодного? Как можно забыть органы чувств, которые сообщают нам о положении головы и тела в пространстве?

Если совсем темно, мы ничего не видим. Если заткнуть уши, можно ничего не слышать. Но до самого последнего времени никто — ни животное, ни человек — не мог освободиться от чувства постоянного земного притяжения. И лишь 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин стал первым человеком, избавившимся от собственной тяжести, первым человеком, испытывавшим длительное состояние невесомости. С началом космических полетов все чаще и чаще на страницах газет и журналов стали появляться два слова — «вестибулярный аппарат» и во всем мире спешно создавались новые лаборатории для его изучения.

Три геометрически четких красавца — взаимно перпендикулярные полукружные каналы, и рядом два скромных, неприметных отолитовых мешочка, расположенные рядом со слуховой улиткой, — это и есть вестибулярный аппарат, чувствительный к силе земного тяготения и к ускорениям. Моряки и летчики всегда относились к нему с уважением. Теперь к нему приковано внимание космической биологии и медицины.

О мышечном же чувстве почти не говорят. Его почти напрочь забил ставший очень важным вестибулярный аппарат. А между тем хорошо координированное мышечное чувство нужно всем людям. Без него мы пронесем мимо рта ложку с супом. А уж спортсменов, балерин и пианистов без хорошей координации, которую как раз и дает мышечное чувство, просто не получилось бы.

Контроль за собственным телом нам обеспечивают органы мышечного чувства — проприорецепторы. «Проприо» по-русски значит «собственный». А рецептор? Мы еще ни разу этого слова не употребляли, хотя говорим о нем на протяжении всей статьи. Рецептор — это высокоспециализированная клетка, которая воспринимает самые различные сигналы внешнего и внутреннего мира и преобразует их в нервные импульсы.

Ученых всего мира — биологов, медиков, физиков, кибернетиков, математиков — чрезвычайно интересуют одновременно фантастически сложные и удивительно просто устроенные, поразительно чувствительные клетки, быстро и при минимальных потерях преобразующие различные виды энергии в биоэлектрические импульсы. Трудно себе представить, что сулит открытие этой загадки природы.

Ну, а откроют ее? Что же, на этом финиш? Никогда. Впереди маячит еще более феноменальная загадка: как одинаковые нервные импульсы, бегущие в мозг по одинаково устроенным нервным волокнам, преобразуются в различные ощущения, в ощущения, позволяющие нам видеть, слышать, осязать, обонять — короче, чувствовать окружающий нас прекрасный мир?

Путешествие по следам путешествия

Евгений РЯБЧИКОВ,
специальный корреспондент «Огонька»

ДЕД

«Ракета» летит на подводных крыльях, оставляя пенный след до горизонта.

— Дед чего натворил! — восхищается Потылицын, глава комиссии по приемке моря для крылатых кораблей. — Вот так Дед!

О Деде я слышал еще в Майне и в Абакане. Местные карикатуристы изображают его то богом морей с трезубцем в руках, то громовержцем, то сказочным богатырем, переносящим на могучей спине горы. А Дед вовсе и не сказочный богатырь и не Нептун — он просто начальник строительства величайшей в мире Красноярской ГЭС, и зовут его Андреем Ефимовичем Бочкиным. Душевно называя Бочкина Дедом, сибиряки обычно так и говорят: «Дед реку перекрыл» или «Дед море наливает», хотя все понимают, что не Дед, а целая армия строителей перекрыла Енисей и возвел на нем исполинскую плотину.

Перед отлетом из Москвы я встретил в аэропорту народного артиста СССР Бориса Андреева. Узнав о моем полете на Енисей и предстоящей встрече с Бочкиным, он весело заулыбался:

— Знаю я Деда, прекрасно знаю... Человека! Широкая душа. Силу! Чтобы сыграть начальника стройки в фильме «На диком берегу...», я пошел к Бочкину, и мы с ним долго и много говорили. Я не гидростроитель, и, стало быть, нужно было мне понять: что же это за человек, начальник стройки Бочкин? И понял: Дед — это истинно народный характер, могучая русская натура, настоящий сибиряк. В чем же его сила? Не боится природы, не боится самых страшных рек. Был Бочкин воином и дошел до Берлина. Брал врага за горло, а теперь скручивает реки Сибири...

...Летит «Ракета», а мне все неймется поскорее увидеть Деда, человека легендарной судьбы, знатока гидротехники. Да и Потылицын подогревает мое нетерпение:

— Тут война у нас идет с Дедом! Начальник нашего пароходства Иван Михайлович Назаров — человек твердый, зовут его «хозяином Енисея», и с Дедом он чуть не на кулаках объясняется. Когда поставили плотину и начали наливаться море, то Енисей пообсох, обмелел, и это, естественно, ударило по пароходству. Плоты — на мели, суда — на камнях. План срывается. «Хозяин Енисея» к Деду: так, мол, и так, друг хороший, давай воду! Дед не перестает все понимает, сочувствует. И говорит: «На стройках всегда конфликт с пароходством неизбежен. Вода морю нужна — необходимо накапливать ее за плотиной. Но вода нужна и

городам, и пароходству, и колхозам. Разорвать-ся нам, что ли? Но коль у тебя, Иван Михайлович, дело труба и капитаны шумят, то уважу старого друга и выручу: дам воду!» И действительно дал воду. Внизу сходят с мелей плоты, в общем, все входит в норму. Только Иван Михайлович уехал, а Дед опять закручивает свои заслонки, и опять внизу все обсыхает.

Вода — жизнь, и если, хотя бы временно, ее становится в реке меньше, то на строителей моря обрушиваются упреки и протесты. Почти всегда морестроители сталкиваются со всякими сложностями...

Слушаю я полный драматизма рассказ Потылицына и мысленно переношусь на тридцать лет назад, когда совершал путешествие «Огонька» вниз по Енисею. В ту пору не было здесь ни Деда, ни плотины.

Тринадцатилетней давности запись в блокноте напоминает: «Иду на катере в Бирюсу, к пещерам. Должен быть в Скиту, у Дивных гор, в устье Филаретова ручья, а потом в Шумихе...» Чем же так приворожил меня Филаретов ручей? Это волнующая и большая история.

70 лет назад, весной 1897 года, под густой звон колоколов красноярских церквей отошел от пристани колесный пароход «Святой Николай», взяв курс на юг, в Минусинск — Шушенское. Ехавший в ссылку Ленин укрылся на корме от пронизывающего ледяного ветра и смотрел на проплывавший Красноярск, на здание Юдинской библиотеки, в которой работал, на Афонтову гору. Ленин был не один — с ним ехали в ссылку Глеб Максимилианович Кржижановский и Василий Васильевич Старков. Был уже вечер, когда «Святой Николай» добрался до устья Филаретова ручья. В ту пору стоял там монастырь, и по случаю открытия навигации полагался молебен «О плавающих и путешествующих». Пассажиры сошли на берег и развели костры.

Мне рассказывал Глеб Максимилианович Кржижановский о том вечере на берегу Енисея. Ленин подошел к Кржижановским к Енисею. В сгущившейся темноте, озаренном всплесками костров, бушевал дышавший стужей Енисей. Кржижановский заговорил о возможном использовании энергии реки. Ленин в задумчивости посмотрел на тускло отраженный волнами костровый огонь и сказал, что когда власть будет в руках народа, то все станет иным.

Прошла ночь. Утром «Святой Николай» причалил к барже у Шумихи — там грузили пароходские дрова. Стоянка продолжалась около трех часов, и Владимир Ильич с друзьями поднялся на скалистую, крутую террасу над устьем речки Шумихи. И здесь, над Енисеем, встречая Первомай, они пели «Смело, товарищи, в ногу»...

Мог ли я, совершая в 1954 году путешествие

по Енисею, не стремиться к устью Филаретова ручья и в Шумиху, мог ли не побывать в тех местах, где Ленин мечтал о будущем! Катер «Огонька» подошел к Филаретову ручью, я выбрался на берег и пошел вдоль реки. Совсем рядом дыбил Енисей, и скалы, отражая эхо, множили грозный речной гул. Вдали, на лесистом мысу, я увидел дымный костер и пошел к нему. Около огня сидели бородачи и готовили уху. Это были гидрогеологи. Они изучали Енисей, и, когда пошел разговор о том, что не пора ли строить плотины и на Енисее, хмурый гидролог, кривящий едучую махорку, буркнул: «Однако глупости это, и все. Его разве обуздаешь? Вон как он валит и режет...»

Да, Енисей, был страшен... В ту пору были уже воздвигнуты могучие плотины на Волге и на Днепре, на Дону и Каме, гидроэнергетики обуздали Иртыш, скручивали Ангара. Но к Енисею все еще не подступались.

Я был, кажется, на всех крупных наших гидростанциях, видел, как их строили и пускали, и, естественно, став больши́м гидроэнергетиком, с особым интересом знакомился с Енисеем. Только увидев его воочию, можно понять, почему не сразу и так осторожно подбирались к реке-исполину творцы электрических фабрик.

Природа отдала Енисею седьмую часть вод всех 200 тысяч рек Советского Союза. Скорость его течения в 5 раз быстрее Волги. Ени-

сей суров и коварен. Уровень воды в нем постоянен и меняется в течение года несколько раз. В паводок у Игарки подъем воды в реке доходит до 20 метров. Кроме того, на Енисее льды, вскрытые вешними водами в Туве и Хакасии, на юге, устремляются через Саяны на север и, конечно, встречают на своем пути ледяные заторы там, где весна еще не начиналась. Льды напиралют, рушат все и вся, и стоит такая пальба, что можно оглохнуть от грохота и рева — Енисей выходит из берегов...

Тринадцать лет назад покорение Енисея было далекой мечтой. А ныне...

— Доброе море налило, доброе море... — говорит мне Потылицын.

Промелькнули бирусинские пещеры. Слева Шумиха, кругогор, на котором стоял Ленин, и вот она, панорама Дивных гор! Надо же быть такому счастливому совпадению, что именно здесь, где Ленин беседовал с Кржижановским о будущем Енисея, поднялось величайшее сооружение на земном шаре — Красноярская ГЭС.

Поднимаюсь на Шумихинскую крутизну. Дух захватывает от картины, открывающейся отсюда. Река остановлена. Над созданным морем величаво поднимается поросшая лесом башенных кранов плотина. Из бетонной стены через специальные донные отверстия прорывается в нижний бьеф море. Круто изогнутые, словно выстреленные из плотины, летят белопенные, рассыпающиеся в воздухе, грохочущие потоки. Море вышибает через донные отверстия весомые, словно отлитые из металла, столбы воды. Еще мгновение, и она растворится, превратится в сверлящую пыль, серебристый пар, и

На строительстве Красноярской ГЭС.

Фото А. Гостева.

море становится светом-радугой. А затем брызги и пыль, ослабев от дугообразного полета, медленно падают в нижний бьеф, дробятся о бетонные плиты водобоя и вновь превращаются в дышащую паром воду.

Справа — синева моря, слева — глубоководный, весь в черных тенях, котлован нижнего бьефа. На его бетонное дно и низвергаются из плотины водяные потоки.

Когда выходишь на плотину, то тебя охватывает такое ощущение, будто ты оказался на оживленном проспекте большого города. Двигаются башенные краны, мчатся машины, куда-то спешат рабочие в оранжевых нашивках, расставляют свои треноги и полосатые рейки топографы. К краю плотины подходит прокопченный катер, и на него забирается бригада Геннадия Абсдудьева. Это бригада особого назначения: ей поручают самые сложные и опасные работы на большой высоте, в штормовой ветер, в лютый мороз. Знакомлюсь с Абсдудьевым. Открытый, смелый, пожалуй, даже грозный глаза. Движения резкие, порывистые...

— Все делаем, что Дед велит, — попыхивая папиросой, говорит бригадир.

Он машет рукой капитану, тот отводит катер, и мы выходим в море. Приближаемся к плотине. И Абсдудьев снова продолжает начатый разговор:

— Сейчас будем срыть опалубку. Дело это простое — ерунда. Вот когда ставили щиты, тогда трудновато было. Ветер. Мороз. Работали на высоте. У донных отверстий. Сатана-вода. Кто проморгает — слезет водой. Потопишь. Был у нас такой печальный случай... Вася Христолюбов... Отличный парень. Пришел из армии. Десантник. Ловкий, сильный. А вот даже с ним беда приключилась. Висел на пятидесятиметровой высоте. Чуть отпустил из руки трос, сорвался, упал, затонуло течение. Сильно горевали мы. А потом в бригаду Васин брат пришел, Ваня... Не дрогнул, не испугался, а ведь

все знают: раз ты из «особой», значит, будь готов к любому заданию на стройке. Сегодня у нас работа простая, споконная. А вот недавно, когда Енисей шуганул нас, полез морем на плотину, тогда пришлось повозиться всем. И нам, конечно...

О том, как Енисей «шуганул», говорят все на стройке: слишком свежи впечатления от шторма, от поединка строителей с морем. О грозном событии расспрашиваю старшего прораба — жилистого, обожженного солнцем, светлоглазого Олеса Грека. Все произошло на его глазах. Но сначала два слова о нем самом. Интересно сложилась жизнь Олеса. Родился он в Закарпатье в 1936 году. Во время войны осиротел. Был в эвакуации. Потом работал машинистом электровоза на шахте Центральной в Донбассе. Окончил вечернюю школу рабочей молодежи и в 1956 году поступил в Киевский университет на факультет журналистики. В 1962 году поехал писать дипломную работу на стройку Красноярской ГЭС. Сотрудничал в редакции газеты строителей «Огни Енисея», и вдруг все круто повернулось в его жизни: ушел Грек из производства и стал парторгом основных сооружений. Сейчас он старший прораб, оканчивает заочный гидротехнический техникум.

Олесь Грек дежурит в щитовом домике на стройке — в штабе. Сюда доносится гул низвергающихся водопадов из донных отверстий. Звонят телефоны. Спрашивают Бочкина. Олесь Грек то и дело отвечает: «Дед скоро будет... Едет...» Я смотрю на плотину и слушаю Грека:

— Я думал, что нет на свете ничего более интересного, чем журналистика. А случилось так, что гидротехника захватила меня целиком... Виноват в этом Дед: он привил мне любовь к реке, стройке, заставил пойти в гидротехнический техникум. Говорит: «Все равно вернешься в журналистику, может, даже станешь писателем — так изучай жизнь изнутри,

Продолжение. См. №№ 43 и 45.

будь не рядом с рабочими, а в самом их строю». Был я парторгом основных сооружений. Это дало возможность увидеть рабочих и инженеров в деле, в жизни. А сейчас я старший прораб. Решаю производственные проблемы, знаю, кто и что делает. Перо, конечно, не бросаю — мои очерки и репортажи печатают в нашей газете «Огни Енисея», в сборниках «Потомки Ермака», «Исполни на Енисее». Веду свой дневник — дневник парторга. Хочу рассказать людям все, что знаю о Бочкине. Мне повезло: я увидел его так, как никто из литераторов не видел. А Дед — это целая академия гидротехники. И, что особенно важно, академия массовой партийной работы. Дед — прирожденный вожак. Живет с массами, понимает настроение людей, может повести их на штурм, и они верят в него, любят его. И все это как нельзя лучше видно было, когда Енисей пошел в атаку...

Хлопнула дверь, и в штаб вошел высоченного роста, могучего телосложения человек, который будто сразу заполнил все помещение. Это был Горлов, правая рука Бочкина. С ним, как и с Дедом, я познакомился еще на Ангаре, когда они строили Иркутскую ГЭС. Он все такой же сильный, громкоподобный. От его рукопожатия можно лишить пальцы. Когда слушаешь Горлова, то кажется, что на барабанные перепонки обрушились горы.

— Здорово! — Горлов поздоровался с таким видом, словно мы расстались сегодня утром. — Где Дед? Как море? Назаров звонил? — забросал Горлов Олесья вопросами. Получив ответы, закурил и заметил Греку: — Ты насчет штурма поменьше распространяйся: всякое бывает. Расскажи лучше корреспонденту насчет «Лодымы». Вот это операция! — И Горлов тут же повел меня к карте мира, достал спичку, стиснул ее в огрубевших пальцах и повел его по материкам и морям. — В Ленинграде построили для нас рабочие колеса турбин. Сам знаешь, что за турбины — уникальные, по пятьсот тысяч киловатт каждая. А вот как эти уникалы через всю страну протаскать? Поездом? Не тут-то было! Колеса такие, что пришлось бы мосты перестраивать, все движение останавливать, тоннели на Урале прошибать новые. В общем, по рельсам не довезешь. И надумали махнуть Северным морским путем. Погрузили колесо на морской лихтер «Лодыму» и повезли из Невы по каналу в Белое море, а потом — Ледовитым океаном в Енисей. Ну, а тут уж дело простое: с помощью Ивана Михайловича Назарова, любимца нашего и мучителя, колесо доставили прямо к плотине. Крапом подняли и — в кратер турбины. Вот это дело почище атаки Енисея...

— А что же все-таки случилось с Енисеем, когда он в атаку пошел? — вернул я Горлова и захватившей меня теме.

— Сейчас Дед придет, пусть он сам говорит... — Горлов вытер носовым платком свою большую, обгоревшую на солнце голову, закурил и вдруг воскликнул, да так, что ему все басы мира позабывались бы: — Вот и Дед! Вошел Бочкин — плечистый, огромный, седеющий и юный. Он тоже не удивился нашей встрече.

— Колесо видел? — спросил он. — Штука! Дед отяжелел и потемнел с лица, заметнее стало серебро на его висках, хрипотца появилась в голосе, но в глазах стало больше ярости, неистовства, какой-то удалости.

— Так ты о штурме? М-да... — Бочкин сел за стол, подписал какие-то бумаги, потом подпер рукой широкий подбородок и уставился на меня своими серо-синими, ясными глазами, будто видит меня впервые. О чем он думает сейчас? Может, вспоминает, как мартовским солнечным днем 1963 года вышел на балкон штабного домика, нависшего над прораном, посмотрел на усыпанные народом горы, на выстроившиеся, готовые к штурму Енисея могучие машины, на летевшие над Енисеем вертолеты и неожиданно для всех удивительно тихо сказал в микрофон: «Начали». И тогда водитель сверхмощного самосвала Леонид Назимко швырнул в kloчующий проран глыбищу. За ним следом ринулись другие самосвалы, кидая в проран бетонные кубы и тетраэдры, обломки скал. А может, Бочкин думает совсем о другом — не повторится ли вновь налет моря на плотину? Успеют ли монтажники пустить турбину к 50-летию Октября?

— Олесь, что у нас вечером? — спрашивает он у Грека. И в ответ следует длинный перечень совещаний, заседаний, встреч с разными комиссиями и делегациями. Выслушал. Помолчал. И снова, обращаясь к Олесею: — Давай и ночи с гостем и с Горловым — на «Спартак». Ясно?

Ночь опустилась на море, на плотину, на горы. Я хожу по гулкой палубе поставленного на прикол парохода «Спартак» и жду приезда Бочкина. Он все еще где-то заседает, принимает комиссии. Олесь Грек, сдавший вахту, показывает мне документы и материалы к летописи стройки, которую ведет. За скупыми строками встают картины той морозной, выжженной зимы 1955 года, когда в Шумиху прибыла экспедиция Ленинградского отделения Гидроэнергопроекта, потом началось строительство дороги и палаточного городка в Скиту, а через год взрывы уже сотрясали горы на трассе Красноярск — Створ. Весной, когда ледоход отрезал Шумиху и Створ от Красноярска, начали действовать вертолеты — доставляли продукты, почту. А летом 1956 года причалила первая баржа со строительными материалами...

СОЛДАТЫ ОКТАБРЯ

Тайсто СУММАНЕН

Его встречал я в Мурманске у сквера, где от ветров студеных стонет берег. И на мыске у озера Лендеры встречал его в тиши березок белых, где рядом травы чуткие заснули и замер лес в почетном карауле. Встречал его в Ташкенте полуденном, на площади под солнцем раскаленным.

Погиб он от бандитской сабли длинной в пустыне, где вода барханам снится. От острого пуукко¹ белофинна, Нелышню перешедшего границу. В слепом бою от собственной гманы, В бою, в котором умирать умели И не умели отступать солдаты.

Читаю: «Это было здесь в двадцатом». И «...в двадцать третьем». «Было в сорок первом». На обелисках молчаливы даты. Лишь слышен ветер времени напевный.

Он был солдатом пламенной эпохи, где сын, отец и внук боролись рядом. И шли в бессмертье через бой жестокий. В огне пожаров, в грохоте снарядов.

И я не избегаю слов высоких, когда пою о нем, кто жил и умер, Любовью к людям огненно горя. Сквозь время он услышит эти строки, Герой и павший воин Октября.

Перевел с финского
В. ПОТИЕВСКИЙ.

¹ Пуукко — финский нож.

— Я, Андрей Ефимович, сидел в кабине космического корабля «Союз-1», видел атомную установку «Ромашка» и самую большую в мире домну, был на величайшем в мире ускорителе протонов в Серпухове, держал в руках искусственные алмазы — все это чудеса века, — говорю я Бочкину. — И все же среди них Красноярская ГЭС занимает особое место.

— Правильно! — Бочкин доволен. Стройка — это его жизнь, его сердце. — Ты понимаешь, в чем тут дело: идет схватка с самой природой в ее наивысшем земном выражении — с Енисеем. Для меня Енисей как живое существо. Ну, дракон, что ли, ихтиозавр, змей-горыныч. В общем, это что-то могучее, силичи неопишущей и хитрости превеликой. Это, конечно, все от легенд и сказок, но без них жить нельзя. А сказки мы теперь и сами творим. Вот ты допытываешься: что же было? Слушай. Весной нам сказали, что год будет маловодный, Енисей поведет себя спокойно и тихо. Я послал в воздушную разведку Сергея Короля. Потом сам полетел на маленьком самолете. Вижу: снега много. А нас все равно уверяли: воды будет мало, поэтому нужно закрывать донные отверстия, копить воду в море. Но это означало, что Красноярск, его заводы будут на ограниченном водном пайке и моему другу Ивану Михайловичу Назарову придется туго с его флотом. Ох как тяжело было нам принять такое решение! А пришлось: раз мало воды будет, значит, необходимо скапливать ее в чаше моря, иначе не выполнишь обязательство — дать ток к пятидесятилетию Октября. Без воды турбины не станут работать. Но мы-то знаем, что Енисей еще плохо изучен, что капризен он, коварен. Тут и случилось непредвиденное: полили дожди, да такие, что залило все вокруг. Море вздулось, стало расти, подошло к верху плотины, ступило за бетонный порог водоприемных камер, подобралось к только что установленным на гребне плотины металлическим затворам. Еще немного — и море сорвется со стометровой высоты в котлован, разрушит здание ГЭС, сбросит башенные краны, сомнет «улитки» для турбин. В общем, катастрофа... Дождина был страшный. Я помчался на плотину. Смотрю: море рядом. Что же, война так война! Пришлось действовать по-военному. Коллектив у нас отменный. Работали день и ночь. И совершили, как писали в газетах, чудо. Девять раз ходил на нас в этом году Енисей. Крепко нам от него досталось. Но сдюжили, выстояли. А теперь монтаж. К празднику дадим ток двумя машинами.

Под утро мы поехали на плотину, спустились в машинный зал, и Бочкин занялся неотложными делами монтажа турбоагрегатов.

* * *

Сейчас, когда вы читаете этот номер «Огонька», уже действуют пущенные в честь 50-летия Советской власти две гигантские турбины.

Всего, как известно, на Красноярской ГЭС будет установлено 12 электрических машин-гигантов общей мощностью более 6 миллионов киловатт. Чтобы лучше представить себе величие подвига на Енисее, приведу справку.

Гидроэлектростанции СССР:
Волжская ГЭС имени В. И. Ленина — 2,3 млн. квт.

Волжская ГЭС имени XXII съезда КПСС — 2,5 млн. квт.

Братская ГЭС имени 50-летия Советской власти — более 4 млн. квт.

Красноярская ГЭС — более 6 млн. квт.

Гидроэлектростанции США:
Грэнд Кули — 1,9 млн. квт.
Джон Дэй (строится) — 2,7 млн. квт.

...В те дни, когда совершалось второе путешествие «Огонька» по Енисею, строители еще только наращивали ввысь плотину, монтировали турбоагрегаты, расширяли и благоустроивали свой светлый, вышедший к самому Енисею Дивногорск. Я осматривал стройку, новый город, и все не выходило у меня из головы: подумать только, именно здесь, в устье Филаретова ручья, остановился на ночь колесный пароход «Святой Николай», и Ленин, встречая Первое мая 1897 года, мечтал тут о будущем великой и грозной реки...

Вот оно — будущее, ставшее нашей явью! Красноярская ГЭС дает ток!

Случается, до десяти раз в день мы слушаем музыку военного Ханоя — грозную симфонию воздушных боев за ханойское небо.

Ее открывает сирена воздушной тревоги. Она рождается всегда неожиданно, вдруг. Немыслимо высокие, стонущие, щемящие ноты пронзают мирные звуки города и, возобладав над ними, тяжелым и мощным аккордом словно падают на замершие и опустевшие улицы и площади.

И наступает пауза.

Странные, нереальные секунды тишины. Секунды какой-то стеклянной пустоты, не заполненные ни привычным шуршанием тысяч велосипедных шин, ни звуками человеческой речи, ни властными гудками автомобилей.

И сразу тишина разлетается вдребезги от выстрелов и взрывов. 26 октября эти секунды были особенно короткими. Шел третий день воздушных битв за столицу. С 24-го американская авиация, ярая день ото дня, рвалась к Ханю. Армады воздушных хищников накатывались на город с двух противоположных сторон: наземная авиация поднималась с аэродромов в Таиланде, самолеты морской авиации стартовали с авианосца 7-го американского флота, пиратствующего в Тонкинском заливе.

Мы, три советских журналиста — корреспондент «Правды» Иван Щедров, корреспондент радио Леонид Кричевский и я, — находились на балконе второго этажа в доме, где расположен корреспондент «Правды». С этого балкона открывается широкий обзор неба над Ханоем.

...Сирена завывала ровно в 11 часов 32 минут. Были четыре воздушных тревоги в течение дня. И едва замолк ее вой, как содрогнулась земля и раскололся воздух. Где-то на окраинах города весело и уверенно заговорила снова артиллерия большого калибра. В юго-западной части неба появилось первое облачко разрыва, рядом раздался оглушительный треск, словно кто-то быстро-быстро ломал толстые сухие палки. Это были скорострельные зенитные пушки. Нарастивая темп, повели свои дробные партии крупнокалиберные пулеметы.

Земля как будто вздохнула глубоко и тяжело, как будто выкрикнула что-то приглушенно. И еще раз. И еще. Это американские самолеты бросали бомбы. Они падали в северной части города. Спустя минуту в этом направлении из-за домов стало подниматься серо-черное облако. Тогда еще ожесточеннее и злее стал язык пулеметов и скорострельных

пушек и все ближе начала ухать артиллерия крупного калибра.

Казалось, уже никакому другому звуку не проникнуть в атмосферу, плотную спрессованную грозой лавиной боя. Но этот звук возник на какой-то новой ноте и отодвинул все другие. Он был не похож ни на взрыв, ни на рокот, ни на рык. Может быть, это был не звук, а ощущение звука. Гул, переходящий почти в физическое осязание мощи. В небо рванулись ракеты.

Сбивая каску на затылок, я стал ловить глазами и объективом фотоаппарата этот гул. Но напрасно, гул прекратился, закончившись в высоте негромким, спокойным «поп».

Это был финал первой части. Стало тихо.

И тогда мы услышали внизу на улице человеческую речь. Возмущенные, взволнованные голоса обращались друг к другу, и отчетливо раздавалось слово «майбай» — самолет. Прислушался. Ага. Сбили! Сбили самолет! Вьетнамцы, стоявшие внизу на улице, видели, как ракета стукнула стервятника!

Тонкий переливчатый свист откуда-то с берега соседнего озера. Наверное, дежурные ПВО загоняют не в меру любопытных в убежище. Тревога не кончилась. Потом резкий звук автомобильного гудка в этой тишине. Санитарные машины едут туда, где упали бомбы.

И опять все тонет в потоке звукового гигантского рокота, составленного из одних ударных инструментов. Кастанетный треск пулеметов, резкие, сухие удары скорострелок, тяжелое уханье больших орудий. И опять разрывы бомб. Снова слышится гул. Шарю глазами по небу. Пошла вторая ракета, третья. На этот раз отчетливо вижу в небе стремительно движущуюся стрелу и ее огненное оперение. Ракета проносится над головой и скрывается за крышей. Бросаемся в комнату, чтобы из окна увидеть противоположную часть неба. Как раз вовремя, чтобы заметить падающий самолет, черный след, тянущийся за ним, и продолговатое серо-оранжевое облако, оставшееся на том месте, где ракета нашла цель. Облако медленно расплывается в небе...

То стихают, то разгораются воздушные сражения. В одну из минут затишья слышим тупые, щелкающие звуки. Это рвутся американские шариковые бомбы замедленного действия, которые воздушные негодяи разбросали по ханойским улицам.

Мы не замечали, сколько прошло времени, как идет время. Время растворялось в громе.

Новая передышка.

И что-то новое в воздухе. Что-то свистящее ядовитое, наглое. Оборачиваемся на звук и видим, как в голубом, таком голубом небе скользит длинное хищное тело американской ракеты. Скользит совсем где-то рядом, над крышами соседних домов и исчезает за ними.

Куда?

Неподвижный воздух вдруг обрел движение и стал как-то смещаться. Наш дом словно бы встал на цыпочки и потом резко опустился.

Мы увидели, как там, где ракета свернула, за крышами вырастает столб дыма и пыли. Кажется, в него вплетены человеческие крики.

Мы были в том районе. Это по пути к нам. Проезжали там на машине еще вчера вечером. Ведь

нены. Среди них было 3 убитых и 10 раненых жителей дома № 22 по улице Лан Куок Тоан, куда ударила американская ракета, которую мы видели в воздухе.

26 октября, сразу после бомбежки, мы наблюдали, как из этого дома выносили убитых и вывозили раненых. Среди них были только старики, женщины и дети.

При атаках на Ханой американские самолеты сделали одной из своих целей электростанцию. Но по-прежнему нормально подается свет в столичные дома и на улицы.

Четко отлажена система противовоздушной обороны. 26 октября над Ханоем и его окрестностями сбито 10 самолетов военно-воздушных сил США. После этого дня атаки воздушных пиратов стали

32 МИНУТЫ ХАНОЙСКОГО НЕБА

там только дома, только люди! Как воды, хочется возмездия! И когда приходит успокаивающий гул нашей ракеты и спокойное «поп», в небе ничего не видно. Но почему-то хочется верить, что ракета настигла того, кто минуту назад обрушил сюда смерть.

Тихо, минута молчания. Выстрелы вдалеке умолкают. Тишина становится все уверенней. Сигнал отбоя. На этот раз сирена звучит успокаивающе.

Стрелки показывают 12 часов 02 минуты.

Вот что мы увидели и пережили в течение 32 минут. Это был один из самых сильных налетов американской авиации на Ханой. Непрерывные атаки воздушных пиратов США продолжались почти неделю.

За это время воздушные пираты разрушили 250 домов в центре и на окраинах города. Двадцать жителей города Ханоя были убиты бомбами и ракетами, 125 ра-

слабей. Все же за пять дней непрерывных налетов на вьетнамскую столицу здесь нашли себе конец 35 самолетов США. Захвачено в плен много американских летчиков, некоторых из них брали на ханойских улицах. Включая другие районы страны, с 24 по 28 октября ракетчики, зенитчики и отряды противовоздушной обороны Демократической Республики Вьетнам сбили 48 воздушных пиратов.

Это самые большие потери американских империалистов за время агрессии против ДРВ, самое крупное их поражение в воздушной войне против столицы.

Ханой знает, что война продолжается, агрессору противостоять мощь и спокойствие его защитников.

Александр СЕРБИН,
специальный корреспондент
«Огонька»

Ханой, по телефону.

Борис СКОРБИН

ПО НОВОЙ ОРБИТЕ

Ветрами продута, морями омыта,
Космической бурей в просторах пыля,
Кружит, как всегда, по знакомой орбите
Родная до боли планета Земля.
В подлунном пространстве несется планета,
И ей невдомек, что кружится не зря,
Что пушка с «Авроры» сигнальной ракетой
Ее повернула на путь Октября,
И люди, далекие от астрономов,
Закончивши первый Октябрьский бой,
Почуяли ветер истории новой,
Увидели путь по орбите иной.
«Россия во мгле»... Да, костры отгорели,
Ни хлеба, ни угля, ни горсти зерна.
И все-таки бились, и все-таки пели,
И все-таки знали: орбита видна.

Уже пятьдесят!.. Но начало рожденья —
Оно никогда не уйдет в забытье.
Великая сила, восторг вдохновенья,
Отечество — песня и сердце мое.
Слава погибшим, их детям и внукам,
Встречающим праздник и любящим труд!
Протянем друг другу рабочие руки —
На Красную площадь фанфары зовут.
Никто не забыт, и ничто не забыто!..
Несись же, космической бурей пыля,
По новой орбите, по новой орбите,
Ветрами продута, морями омыта,
Войной опаленная, бомбами взрыта,
В семнадцатом большевиками открыта, —
Всегда молодая
планета Земля!

Мой брат Том

Повесть о любви

Джеймс Олдридж

Рисунки П. ПИНКИСЕВИЧА.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Отец поверил в виновность Локки только после того, как ночью кто-то вломился в амбар Дормена Уокера и все там перевернул вверх дном. Мы-то знали, что это была работа Финна Маккуила и его дружков. Они, конечно, искали злополучное корыто, а не найдя, вспороли десятки мешков с кормовой сечкой и вылили на пол бочку жидких удобрений. Когда Дормен Уокер рассказывал об этом, слезы ярости мешались с коричневым потом на его сморщенном бабьем лице. Отец был до глубины своей

английской души возмущен подобным бесчинством и твердо решил, что не успокоится, пока не зайдет Локки Макгиббона в тиски правосудия. И опять вся грязная работа пришлось на долю Тома.

За это время Том и Пегги все-таки встретились еще раз, правда, при незаурядных и очень печальных обстоятельствах. У нас в Сент-Хэлен не проходило лета, чтобы два-три человека не утонули в Муррее, — неосторожность ли была тому причиной или обманчивое спокойствие по-летнему полноводной речной глади, под которой скрывались кое-где опасные стремнины. Как и пожар, каждая такая трагедия никого не оставляла равнодушным: ведь жертву обычно все хорошо знали.

На этот раз несчастье случилось с Файфом Энгесом, владельцем гаража в Сент-Хэлен. Усадив в машину двух дочек, двенадцати и девяти лет, Энгес поехал с ними за город к Берковой переправе. Место это, названное так в честь знаменитого путешественника Роберта Берка, по преданию, переправлявшегося там через Муррей, славилось обилием рыбы. Файф бродил вдоль откоса у крутой излучины реки, собирая мидии, и вдруг буквально исчез на глазах у девочек, сидевших на берегу. Кэти, старшая, бросилась звать на помощь, но ей долго пришлось бежать по болотистому, кишевшему змеями Биллабонгу, пока она добралась до ближайшего жилья. Грек-фермер, по имени Голиаф, к которому она постучалась,

Продолжение. См. «Огонек» №№ 43—44.

позвонил по телефону в Сент-Хэлен и, путая от волнения английские слова, рассказал о случившемся. И сейчас же к Берковой переправе помчались машины. Спасти Файфа Энгеса уже никто не надеялся, но надо было хотя бы найти его тело. За розыски взялись лучшие молодые пловцы городка. Мы с Томом тоже поспешили на место происшествия, воспользовавшись мотоциклом близнецов Филби.

Когда мы приехали, у самого берега стояло уже семь или восемь машин и шестеро парней по очереди ныряли в глубокий бочаг сразу за отмелью. Это было очень опасное место из-за быстрых подводных течений, которые легко могли затянуть пловца под одну из огромных коряг, торчавших на дне бочага. Вероятно, где-то среди этих коряг и застряло тело Файфа. Младшую девочку увезли домой, но старшая, Кэти, ехать отказалась. Она сидела на глинистом берегу, неподвижная, сухими глазами глядя на все происходившее. Несколько женщин не отходило от нее. Мать девочек гостила у своей сестры, за двести миль от Сент-Хэлен, куда уже дали знать. Среди других машин, стоявших на берегу, был и «мармон» Локки Макгиббона, и Пегги тоже приехала с отцом.

Столпившись у самой воды, мы смотрели, как городские парни ныряют в глубину бочага. То один, то другой, обессилев, выбывал из строя, и его место занимал новый доброволец. Уже стемнело, и к тому времени, когда очередь дошла до Тома, на машинах включили фары, чтобы осветить бочаг. Я видел, как Том поднял голову, потом втянул ее в плечи и, оттолкнувшись ногами, врезался в воду. Ныряя, все теперь старался достать дно под корягами, но никому не удавалось, даже Доби и Финну Маккуилу.

Я следил за Томом с тревогой; я знал, как он злится, когда приходится пасовать перед глубиной, расстоянием или иным издевательским непреодолимым препятствием внешнего мира. Пегги тоже следила за ним, не отрывая глаз. Локки ходил среди пловцов, предлагая виски, которое предусмотрительно захватил с собой, а Пегги сидела рядом с Кэти Энгес и все смотрела, как Том всплывает и ныряет, всплывает и снова ныряет. Прошло около часу. Я видел, что Том уже выбивается из сил, ему все трудней было бороться с подводным течением, с каждым разом уносившим его дальше. Я крикнул ему, что пора отдохнуть. Он еще несколько раз нырнул, потом поплыл к берегу, вылез, отполз чуть подалее и распластался на вязкой глине, изнемогая от усталости и холода.

Кто-то набросил полотенце на его мокрое тело. Он с усилием повернул голову и увидел Пегги. Она сидела около и не говорила ни слова. То, что каждый из них чувствовал, сейчас не имело значения; они это понимали, и, может быть, от этого все было проще.

Но когда Том попытался встать, она энергичным, хозяйским движением уложила его снова. В темноте их никому не было видно. В руках у Пегги появилась бутылка виски — в доме Локки выпивка не считалась зазорной, и лишняя бутылка всегда могла найтись.

Она протянула бутылку Тому. Надо сказать, что Том ни разу в жизни не глотнул спиртного — не из моральных соображений, а просто он видел, во что превращались некоторые его школьные товарищи субботними вечерами, и не чувствовал никакой охоты уподобляться им. Не знаю, взял ли бы он бутылку из других рук, но тут он взял, сел, выпрямился, набрал полный рот виски, часть проглотил, а остальное с отвращением выплюнул вон.

— Господи, и как только люди пьют эту гадость! — сказал он.

Пегги даже не засмеялась. Тоном старшей она приказала:

— Пей! Не выплевывай, а пей!

Том снова поднял бутылку ко рту, скорчил гримасу, но послушно отпил большой глоток. Потом, вернув Пегги остаток виски, он снова откинулся назад и... мгновенно заснул, скотина! Пегги сидела, не двигаясь; только услышав, что отец зовет ее, она вста-

ла и пошла к машине. Но скоро вернулась и, когда Том открыл глаза, сказала ему:

— Оденся. Ты простудишься насмерть.

— Нет, — сказал он. — Я опять иду в воду.

— Ну и дурак! — ответила она, не повышая тона, повернулась и ушла.

Вот тогда Том и рассказал мне, что он придумал. Когда ныряешь, объяснил он, слишком много сил приходится тратить на то, чтобы достигнуть глубины. А вот если взять в руки большой камень, пойдешь ко дну пусть медленнее, но зато не расходуя ни воздуха, ни сил. Только для этого требовалась моя помощь. На беду камней поблизости не было, но Том быстро нашелся: не смотря на протесты близнецов, снял с мотоцикла сумку с инструментами, засунул в брезентовый мешок здоровенную глыбу застывшей глины и привязал то и другое к длинной веревке. Вдвоем мы, спотыкаясь, потащили этот груз к отмели. Том вошел в воду и крикнул, перекрывая шум разбиравшегося о преграду потока:

— Кит, брось мне короткий конец веревки, а длинный держи крепко в руках. Когда я скажу «Давай!», ты столкнешь груз в воду.

Я бросил ему короткий конец, он намотал его на руку у кисти и крикнул:

— Давай!

Я надал глыбу ногой, и она погрузилась в воду, увлекая за собой Тома, а я постепенно травил свой конец веревки. Сигналом к подъему должны были послужить два резких рывка. Кроме Тома, еще только один человек продолжал нырять в поисках тела Файфа Энгеса, остальные сочли это бесполезным и присоединились к толпе, взволнованно ожидавшей развития событий.

Том очень долго оставался под водой, и я уже хотел тянуть, не дожидаясь сигнала, но в это время веревка дернулась раз и другой. Я стал тянуть. Том всплыл и шумно перевел дыхание.

— Я был на самом дне, — объявил он.

— А где мои инструменты? — завопил Тед Филби.

Я вынул веревку до конца, и сумка с инструментами легла на отмель, только брезентовый мешок был почти пуст, вода размыла глину. Мы нашли другой, еще более увесистый ком, втиснули его в мешок и приготовились повторить все сначала. Люди на берегу, притихнув, следили, как Том наматывает конец веревки на руку.

— Пошел! — скомандовал он, и я столкнулся в воду брезентовый узел.

Груз быстро потащил Тома за собой; я отпустил веревку, и она заскользила свободно у меня между пальцами. Никогда не забуду этого тянувшегося бесконечно ожидания над черной водой, исчерченной желтыми лучами фар. Она казалась такой мирной и ласковой даже в этом резком свете, но было ясно, что для нас теперь все здесь изменилось. Где раньше было место отдыха и веселья, теперь поселилась смерть. Об этом я думал, ожидая сигнала Тома. Сигнала все не было, и Пегги с берега крикнула:

— Тяни, Кит! Наверно, он за что-нибудь зацепился.

Но я его чувствовал там, на другом конце веревки, и не хотел ему мешать: ведь по условию я должен был его вытянуть только после того, как он резко дернет за веревку два раза.

Прошло уже больше полутора минут, как Том находился под водой, и теперь мне уже кричали со всех сторон:

— Тяни, Кит, тяни!

Пегги пробралась к тому месту, где я стоял, и кричала мне в самое ухо.

Но я лучше их знал Тома и, веря в него так же, как верила наша мать, был убежден, что он сделает все по-своему и, однако, сумеет уцелеть. Поэтому я ждал сигнала, и, только когда веревка резко дернулась дважды, я стал тянуть. Но какая-то невероятная тяжесть оттягивала на этот раз веревку, и, когда вдруг Том всплыл в стороне, хотя я еще не выбрал и трети длины веревки, я понял, что это Файфа Энгеса мои руки медленно тянут со дна бочага.

У Тома шла кровь из носа и все лицо было в крови, но никто сейчас о нем не ду-

мал, все думали только о том страшном, что вот-вот должно было показаться из воды. Меня окружили, кое-кто, ухватясь за веревку, тянул вместе со мной, одна лишь Пегги, пользуясь тем, что общее внимание отвлечено, помогла Тому выбраться на край отмели и, когда он немного отдышался, подала ему полотенце, которое держала наготове. Краем уха я слышал, как она тревожно говорила ему:

— Что с тобой случилось? Откуда кровь?

— Не знаю, Пег, — отвечал Том и тер, тер руки полотенцем, точно хотел стереть с них смерть. — Ничего со мной не случилось. Я цел и невредим.

— Тебе надо к доктору. На тебя смотреть страшно...

— Пустяки...

— Как это пустяки? Ты весь окровавлен.

— Это кровь из носа.

— Почему ты упрямишься? А вдруг у тебя повредилось что-нибудь внутри?

Но Том сказал, что вряд ли. А тем временем Файфа уже подтащили к отмели, и все увидели запутавшийся в лохмотьях его рубашки кривой черный сук. Вероятно, он упал в воду, зацепился рубашкой за сучья торчавшего со дна топляка, не смог высвободиться и захлебнулся насмерть. В конце концов державший его гнилой сук обломился, но было уже поздно, и он пошел ко дну.

Дальнейшее не имеет отношения к моему рассказу. Трагедия окончилась, или, лучше сказать, трагедия завершилась появлением на поверхности воды вздувшихся никлых останков владельца сент-хэленского гаража. Кровотечение у Тома прекратилось, и мы решили, что просто у него от давления где-то в носу лопнул сосудик. Тратить деньги на то, чтобы то же самое услышать от врача, мы сочли излишним.

Впрочем, Том и не беспокоился по этому поводу. Беспокоился он о другом: как, где и когда им с Пегги можно будет открыто встретиться. Оба были слишком горды, чтобы встречаться тайком, прячась от посторонних глаз. Но оба хорошо знали, что стоит им хоть раз открыто пройти вместе по городским улицам, и языки городских сплетников заработают во всю мочь, смакуя неожиданность и ироническую остроту положения. Все ведь знали, что отец и Локки издавна были противниками в душе, и все знали, что история со страховой премией Локки теперь сделала их противниками и на деле.

Но открыто пренебречь семейными чувствами ни Том, ни Пегги пока не отваживались, и потому они ничего не решали, не обещали и друг от друга не требовали, точно надеялись, что какой-то милосердный бог укажет им выход. Но милосердных богов на свете нет, и выхода не находилось; мало того, положение стало еще сложнее, когда отец послал Тома в соседний городок Нуэ проверить, действительно ли Локки провел ночь пожара там, или же он потихоньку вернулся на своем серебристом «мармоне» в Сент-Хэлен и поджег свой дом.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

К пятнице наш новоиспеченный детектив успел убедиться, что в Нуэ у Локки нет недостатка в верных друзьях и несокрушимых алиби; нашлись, однако, и люди, слышавшие в ту злополучную ночь, как «мармон» Локки Макгиббона мчался по сент-хэленской дороге. Ночью на наших дорогах движения почти не было, а машины разных марок различались в те годы не только формой и цветом, но и звуком мотора, и макгиббовскую «быстроходку» за полмили легко было распознать на слух.

— Керри его слышали и Стоуны тоже, а миссис Миллз говорит, ее собаки проснулись от шума и добрый час потом лаяли, не могли успокоиться, — рассказывал Том отцу за обедом.

— Но никто его не видел? — спросил отец.

— Джуда Уоллес видел. — Джуда Уоллес был инспектор ирригационной системы. В летнюю пору он иногда целыми ночами разъезжал по округе, проверяя шлюзы на отведенных от Муррея оросительных кана-

лах; воду в эти каналы часто пускали именно ночью, когда она не так сильно испарялась.

— Ты взял с него письменные показания?

— Как бы не так! Писать Джуда наотрез отказался. Но на словах заверил меня, что без четверти два видел машину Локки около Старой Роши, а это, сам знаешь, всего двенадцать миль от Сент-Хэлен.

— Нужны письменные показания, — с досадой сказал отец и поджал губы.

— Никто не станет письменно свидетельствовать против Локки Макгиббона, — сказал Том решительным тоном. — Одни ему сочувствуют, другие боятся, не столько даже его, сколько Финна Маккуила.

Отец на это ничего не ответил, и обед продолжался при полном молчании; отец энергично жевал, погруженный в свои мысли, мать не сводила глаз с Тома, чувствуя в нем какую-то неуловимую перемену и силясь разгадать ее смысл. Джин уткнулась носом в учебник биологии (она мечтала стать врачом, а так как она была любимицей отца, ей все прощалось, даже чтение за едой), а мы с Томом не могли дожидаться, когда отец положит свою салфетку — знак, что обед окончен и можно встать из-за стола. Сразу же после обеда мы сошлись под старым орехом, где всегда сообщали друг другу все новости.

Том был очень взволнован.

— Вот что я тебе скажу, Кит, — начал он. — Надоела мне вся эта история. Конечно, пожар — дело рук Локки, но с какой стати я должен лезть из кожи, чтобы доказать это? Что я, полицейский?

— А я думал, тебе такое занятие нравится, — не без схищства заметил я. Мы с Томом, в общем, жили дружно, однако, будучи на три года старше и не столь прямолинейным по натуре, я считал себя вправе относиться иронически к его рассуждениям и поступкам.

— Глупости!

— Что ж ты прямо не скажешь отцу?

— А что я ему буду говорить? — зло сказал Том. — Он знает, что без прямых улик Коллинз и его полицейские пальцем не тронут Локки, вот он и считает своим долгом такие улики добыть. И дело тут не только в страховой премии.

— Ну?

— Что ну? Сам знаешь, что дальше будет.

— Не знаю, Расскажи, — сказал я с приторным любопытством.

— Брось дурака валять, — сказал Том. — Отлично знаешь, что, когда наш старик соберет что можно, он все передаст в главную прокуратуру штата и потребует, чтоб были приняты меры. А тогда уж им там не отвертеться, — он-то лучше их знает законы.

— Но у вас же нет никаких доказательств.

— Ошибаешься. Дормен Уокер переправил корыто Локки на одном из своих грузовиков в Бендигго. А страховая компания послала его на анализ в лабораторию Горного колледжа, и там установили, что в корыто был налит бензин и потом подожжен. Этого уже достаточно, чтобы упрятать Локки за решетку.

— Только не для Сент-Хэлен, — возразил я.

— Все равно. Старик еще что-нибудь придумает. На этот раз Локки от него не уйдет. Он не успокоится, пока не засадит Локки в тюрьму.

— А ты-то чего кипятиться? — лукаво спросил я.

— Противно мне это все.

— Из-за Локки? — Я недоверчиво прищурился.

— Локки — поджигатель, — сказал Том, пожимая плечами. — Но почему именно я должен выводить его на чистую воду?

— Закон требует, — напомнил я.

— Закон! Тут, кроме закона, есть еще всякое.

— Ты имеешь в виду Пегги? — поддразнил я.

Том оторопел. Ему и в голову не приходило, что кто-то мог уловить то, что промелькнуло между ними в короткие, но пол-

ные значения минуты, и не только уловить, но и правильно истолковать. Сказывалась разница между Томом и мною. Том жил, как дышал, а я брал жизнь на ощупь. Я знал: когда-нибудь я обо всем этом расскажу — обо всем, что совершалось вокруг меня каждый час, каждую минуту и что я жадно впитывал всеми фибрами своего существа. А Том глотал жизнь, как некоторые глотают куски апельсина — прямо с кожурой.

— При чем тут Пегги? — ошетинился он.

— Да уж ладно, — сказал я. — Смотри только, будь осторожен. Как бы это не кончилось плохо.

— Что — это?

— Что бы ни было. Будь осторожен, — многозначительно повторил я.

— Ах, ничего ты не понимаешь, — проворчал он. Это был его обычный способ объяснять то, что не поддавалось объяснению.

Уходя, он не сказал мне, куда идет, но я и сам знал: он спешил к жилищу Макгиббона у реки, надеясь увидеть Пегги. И, конечно же, надеялся не зря — ведь Пегги тоже мечтала его увидеть. В тот вечер она сидела на ступеньках веранды, подняв голову к ясному австралийскому небу и вглядываясь в созвездие, которое все мы считали своим — Южный Крест (по австралийским поверьям, это приносит счастье). Завидев издали Тома, она инстинктивно угадала его путь, встала и пошла по тропинке, ведущей к тому месту, где пьянчуга Маккуил, отец Финна, выстроил себе когда-то домишко, похожий на рубку его затонувшего парохода.

Они встретились на полпути и буквально упали в объятия друг к другу, как будто по сигнальному выстрелу, возвестившему начало сложного переплетения их судеб. Много лет спустя, когда все бури давно утихли, я спросил у Пегги, что произошло между ними в тот вечер, и почти все, что я пишу об их любви, я пишу со слов Пегги. — Том в разговорах со мной ни разу не обмолвился об этом. Но на первый мой вопрос Пегги отвечала, что не помнит, не знает, как началась их любовь, знает только, что она была очень целомудренной и чистой. Несмотря на озорные искорки в глазах и бойкий язычок, не дававший спуску молодым людям, Пегги до смерти боялась своего строгого католического бога и ни в чем не преступила бы даже его неписанных запретов. Ни одного прикосновения, которое могло бы смутить. Впрочем, она признавалась мне, что просто не думала тогда об этом, — то ли безгранично доверяла Тому, то ли ей было все равно.

Зная Пегги и помня ее возраст, я думал, что ей действительно было все равно; ведь женщины, хоть и усердствуют в измышлении все новых, все более утонченных средств защиты своей ненужной добродетели, в страсти куда смелее мужчин; и, наверно, Пегги тогда не испытывала никакого страха и была готова к любым безрассудствам — а вот Том, которому бы полагалось быть безрассудным, боялся зайти слишком далеко, боялся из-за Пегги.

Впрочем, весь этот клинический анализ немногочислен. Ведь даже в 1937 году любовь была любовью, а плоть всегда остается плотью, и Том и Пегги чувствовали то же, что чувствуем мы все, когда, впервые переступив заветную черту, попадаем в дикий лес любви, откуда уже нет пути обратно.

— Господи, чего же ты ждал так долго! — были первые слова, вырвавшиеся у Пегги.

Том растерялся. Упрек показался ему незаслуженным — он уже забыл, что целыми вечерами толковал о политике со старым Драйзером, в то время как Пегги искала его на Данлэп-стрит.

— Прости, Пег, — сказал он жалобно. — Я ведь не знал... — Ему было неприятно, что она считает его каким-то недотепой. Уверенности его как не бывало.

Пегги застонала от удовольствия. Она потом говорила мне, что никогда так не любила Тома, как в эти минуты, когда его белокурый, голубоглазый, устойчивый мир

вдруг начинал шататься. Случалось это, надо сказать, довольно часто, но Пегги быстро научилась сама способствовать этому ради неистового наслаждения охранять его своей любовью, служить ему опорой, не только душевной, но даже и физической — пусть не было тут сознательного стремления молодого, нетерпеливого ума, а лишь стихийный порыв молодого нетерпеливого тела.

— Никому не позволю дотронуться до тебя, — твердила она, тесно, до боли, прижимаясь к его груди своей нежной, зовущей грудью. — И тебя возненавижу, если ты до кого-нибудь дотронешься. Возненавижу!

Том был ошеломлен, даже немного испуган силой этой чужой страсти, потому что его самого одолевало желание, с которыми уже нелегко было справиться. Он любил, но Том не был бы Томом, если бы не страшился причинить страдания предмету своей любви, и впервые в жизни он в себе самом ощутил что-то, представлявшее опасную угрозу для его гипертрофированной совести.

— Не знаю, как нам теперь быть, Пегги, — сказал он встревоженно. — Все ведь ополчилось против нас. Все.

— А мне все равно...

— Мне тоже, но все-таки, черт побери, как нам быть?

Пегги спросила:

— Ты меня любишь?

— Ты знаешь сама...

— Нет, я хочу, чтобы ты сказал.

— Я тебя люблю, Пег.

— А все остальное неважно, — сказала она, блеснув на него своими зелеными, мокрыми от радостных слез глазами.

Все-таки они нашли друг друга, а это было не так-то просто, принимая во внимание все обстоятельства. Пока что эти обстоятельства складывались не совсем обычно — хоть, признаться, я бы дорого дал, чтоб услышать, как Том, пожиратель апельсинов с кожурой, говорит: «Я тебя люблю, Пег».

Снова они крепко прижимались друг к другу, и снова Том целовал Пегги, а она тихо стонала от сладкого томления в маленьких, нежных грудях, которые еще ничего не знали, но уже чувствовали все. А в ликующем Томе было что-то от язычника и от атлета; он ей потом говорил, что ему хотелось на вытянутых руках поднять ее к небу и так, высоко держа над головой, пронести до самой реки и бросить в воду — а потом прыгнуть следом. В конце концов секс — это не всегда только секс.

Я, кажется, впадаю в несерьезный тон, но тут ничего не поделаешь: трудно через двадцать семь лет рассказывать о начале юной любви иначе, как с легкой усмешкой. Вероятно, на самом деле все это было гораздо острее, чем оно выходит в моем рассказе. Том в тот вечер, по дороге домой, готов был выть, рычать и кусаться от обиды на мир, загонявший его в темный угол, когда ему мчаться бы по людным улицам со скоростью ста миль в час, плечом к плечу с Пегги, веселой и сияющей счастьем. Для Пегги, выросшей под сенью более деспотичной морали, чем наша, счастье не омрачалось тем, что это счастье надо было скрывать. Ей радостно было лелеять и холить родившуюся любовь, оберегать ее и втайне даже строить вокруг нее воздушные замки, и она пришла домой, полная тем новым и удивительным, что вдруг открылось ей в ее теле и в ее набожной католической душе, думая лишь о том, как бы не попасться на глаза матери, слишком многоопытной, чтобы не разгадать, что с ней случилось.

В сущности, не случилось ничего, просто они с Томом встретились, целовались и прижались друг другу в любви, но Пегги смотрела на это иначе. Так велико было переполнявшее ее радостное чувство, что не могло не быть грешным, вот только оставалось неясным, в каком из семи зарегистрированных смертных грехов она повинна. Пегги уже слегка надоело исповедоваться по пятницам — входить в маленькую фанерную исповедальню, где всегда пахло конским навозом, потому что за стеной был лужок, где

прихожане, приезжавшие к мессе из-за города, ставили лошадей и экипажи, и выкладывая отцу Флахерти список своих грехов за неделю; иногда оказывалось, что в этом списке представлены все шесть видов — шесть, потому что в седьмом, похоти, она ни разу еще не признавалась даже самой себе. Все ее грехи были отвлеченно-духовного свойства; к обыкновенным нарушениям законов страны дочь Локки Макгиббона настолько привыкла, что даже не считала их грехами, в которых следует исповедоваться.

Но Том — это уж явно был грех, только какой? Неужели похоть, седьмой, смертный грех, до сих пор ею не испытанный? Ей страстно хотелось в это поверить, но она не решалась. Ясно было одно: тут грех, в котором нужно исповедоваться отцу Флахерти. Но в пятницу, когда она шла в церковь, мысль об исповеди, все эти дни казавшейся лестным доказательством ее женской зрелости, вдруг испугала ее.

На каждом углу она меняла свое решение: «Скажу — не скажу — не смею сказать!» Но намерение не сказать, утаить само по себе было грешным, что еще запутывало дело. Так и не решив ничего, она вошла в кирпичное здание церкви и у ризницы свернула направо, к корбочке-исповедальне. Навстречу вдруг вынырнула старенькая миссис Лайтфут (какие такие могут быть у нее грехи, в восемьдесят-то лет!). В церкви, под накаленной железной крышей, было нестерпимо жарко. Пегги склонилась голову и услышала ласковый, заранее всепрощающий голос отца Флахерти.

— Слушаю, дитя мое.
Она забормотала привычные установленные слова:

— Ныне исповедуюсь всемогущему господу богу и сыну его едиnorodному Иисусу Христу... — и, следуя той же установленной формуле, созналась, что тяжело грешила словом, делом и помышлением. Но вот уже были произнесены все слова, предшествующие перечислению содеянных грехов, а она все еще не решила главного вопроса. — Лгала матери, — с запинкой сказала она, — завидовала сестре, не сдержала гнева против отца, а еще...

Отец Флахерти вздохнул. Ему было жарко и скучно. Он был добрый старик, любил посмеяться веселой шутке. Должно быть, ему до смерти надоели чужие грехи, и все равно он в конце концов отпускал любые — лишь бы покаяться в них, ибо кто кается, тот уже возненавидел грех свой.

И она сказала, что вечером в темноте обнималась и целовалась с молодым человеком.

Скрипнуло кресло: отец Флахерти выпрямился и откашлялся, прочищая горло.

— А что это за молодой человек, дитя мое? Нашей веры?

— Да, отец мой, — солгала она. — Это Финн Маккуил.

И сразу представила себе, как отец Флахерти бормочет за своей занавеской: «Пресвятая дева — и тут Финн Маккуил!»

Она чуть не прыснула — до того смешной показалась ей эта ложь, но через минуту ее охватило искреннее раскаяние, не только потому, что она солгала, но потому, что могла усмотреть в этом повод для смеха. То, что само по себе было не столь уж значительным прегрешением — ну, целовалась с Томом, — выросло в большой и тяжкий грех против бога и духовства, и теперь уже ни два шиллинга, опущенные в церковную кружку, ни целая сотня молитв пресвятой деве, ни предостерегающий шлепок, мысленно полученный от отца Флахерти, не в силах были успокоить ее совесть.

Зачем ей понадобилась эта чудовищная ложь?

Она сама не знала зачем, но, пораздумав, пришла к выводу, что только инстинкт самосохранения помешал ей назвать имя Тома. Разумеется, отец Флахерти даже ради общего блага не нарушил бы тайны исповеди, но так или иначе отцу сразу стало бы известно, что его дочка целовалась с Томом Квэйлом. Впервые в жизни Пегги почувствовала себя и впрямь виновной перед отцом небесным.

Что касается Тома, то на его протестантский взгляд сама идея исповеди заключала в себе нечто кощунственное, но и ему приходилось нелегко эти дни, потому что старый Драйзер терзал его рассказами об Испании, замученной, истекающей кровью в последних судорогах гражданской войны.

Старый Драйзер сам был католиком когда-то, во времена своей гамбургской молодости, и, как у всех вероотступников, у него словно осталась в душе открытая рана, которую растревала любая низость, допущенная церковью в ее ослеплении своей мнимой непогрешимостью. Репрессии церкви по отношению к низшему духовенству Германии, которое выступало против Гитлера, невмешательство папы Пия XI, позволившее Гитлеру истребить миллионы евреев, — обо всем этом заговорили двадцать пять лет спустя, когда Рольф Хохгут написал свою драму «Наместник»; но всем Гансам Драйзерам и Томам Квэйлам суть дела была ясна еще в свое время.

Старый немец выучил Тома понимать связь между политикой и религией, и Том возненавидел политиканствующую церковь и политиканствующих священников не менее люто, чем он ненавидел Гитлера и Муссолини; но где-то подсудно то и дело шевелилась в нем мысль, что ведь это религия Пегги и духовные наставники Пегги вызывают у него подобные чувства.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Но он все-таки гнал от себя эту мысль. Оба они инстинктивно старались отгородиться от ненависти, накалявшейся со всех сторон и грозившей разлучить их, наивно веря в возможность защитить свой крошечный тайный мирок от внешних враждебных сил, готовых раздавить его в любую минуту. Но была ли такая возможность? Вряд ли, жизнь ведь не машина, которую в случае чего можно остановить и выскочить из нее.

Какие серьезные их ждут испытания, я понял в тот день, когда в Шайр-холле состоялся заключительный концерт конкурса певцов. Наши сент-хэленские девушки, Анни Флэгг и Дороти Тэйт, чудесно, вдохновенно пели одну за другой немецкие *Lieder*, входившие в конкурсную программу, и вот когда Анни Флэгг вдруг перешла на Генделя — *Si, tra! serpi* (Истинная любовь пребудет вовеки), — я увидел отца: он сидел в одном из последних рядов и, откинув голову, немного назад, казалось, весь ушел в звуки.

Его появление на концерте было совершенно естественно: у нас вся семья музыкальная. Нам так и не удалось скопить денег на покупку автомобиля, но проигрыватель у нас был первоклассный, и к нему целая фототека оперного и классического репертуара (музыка для отца начиналась с Перселла). Сам он недурно, хоть несколько тяжеловато играл на рояле, я тоже играл на рояле и, кроме того, немного на флейте, сестра — на скрипке, а Том — на гобое, точнее сказать, на английском рожке. У Тома и голос был хороший, но пел он теперь разве только в бусе. Там он горланил песни вроде «Дороги в Мандалай», подражая манере Питера Доусона, но деревья, единственные его слушатели, были не способны оценить его искусство.

Итак, не было ничего удивительного в том, что отец пришел на концерт, но я хорошо знал, что, когда он вот так слушает музыку, откинув голову и закрыв глаза, это означает, что он в то же время занят обдумыванием сложного юридического казуса. Что это был за казус на этот раз, мне стало понятно, когда Том по дороге домой упомянул, что Австралийская Компания Страхования от Огня обратилась к Эдварду Дж. Квэйлу за советом, как быть со страховой премией Локки Макгиббона — выплачивать ее или не выплачивать.

— Чего ж тут сомневаться, все же ясно, — сказал я.

Том весь изогнулся, словно уже готовясь проползти через извивы и петли своей будущей профессии.

— Ясно-то ясно, — согласился он, — но, если посоветовать компании отказать Локки в выплате премии, дело на том не кончится.

— А почему, собственно? — возразил я. — Не станет же Локки подавать на компанию в суд.

— Он-то не станет, но ведь отказать ему в выплате страховой премии — это все равно, что публично обвинить его в поджоге, — пояснил Том свою мысль. — Словом, старик намерен просить у компании полномочий передать все материалы в прокуратуру штата.

— А что передать-то? — недоверчиво усмехнулся я. — У него же нет ничего.

— У него уже есть письменные свидетельские показания, что машина Локки была в Сент-Хэлен в ночь пожара. Ты знаешь Пикки Пикеринга, полоумного адвентиста седьмого дня, который по ночам забирает на приречных фермах молоко для маслозавода? Вот он в ту ночь видел, как Локки на своем «мармоне» въезжал в город, только с противоположной стороны. Нарочно круг сделал, понимаешь? Так или иначе, Пикеринг дал письменные показания по всей форме.

— Да-да... Я вздохнул. — А как к этому относится Пегги?

Забавно, что влюбленный Том всегда находил разрядку в атлетических упражнениях. Вот и сейчас он высоко подпрыгнул в воздух, как бы для того, чтоб сорвать листок с нависшей над нами ветки перечежного дерева, и, когда потом он посмотрел на меня, его ясный взгляд словно заволкло холодком отчуждения.

— Она не знает, — хмуро сказал он. — Мы с ней об этих делах не разговариваем.

Я засмеялся — впрочем, мысленно: я слишком хорошо знал силу кулаков Тома, чтобы рискнуть посмеяться вслух над расстроенным выражением его лица.

Когда мы сидели за столом и ели вустерскую колбасу местного изготовления (ее недавно стал делать по настоянию отца один колбасник, переселенец из Англии), на черном ходе раздался стук в дверь, и Тома послали посмотреть, кто там.

— Это сержант Джо Коллинз, — сказал, вернувшись, Том.

— Что ему нужно? — спросил отец.

— Тебя, — ответил Том несколько грубовато, но у них с отцом за последнее время отношения стали натянутыми по многим причинам.

К счастью, отец уже доел свою колбасу, иначе пришлось бы начальнику сент-хэленской полиции дожидаться у черного хода. Отец вышел и остановился в дверях.

— В чем дело, Коллинз? Что случилось?

Австралийцы очень не любят, когда их зовут по фамилии, а отец еще произнес «Коллинз» так, что это прозвучало не просто фамилией, а чем-то вроде обидной клички. (Том, наш австралиец, не раз дрался из-за этого, требуя, чтобы даже недруги называли его «Том», а не «Квэйл».)

— Я насчет Локки Макгиббона, — вызывающе сказал Коллинз.

— Зачем же вы пришли сюда? — сказал отец. — Приходите в контору, там и будем разговаривать.

Коллинза нетрудно было сбить с тона.

— Видите ли, мистер Квэйл, — заговорил он, видимо, заставляя себя быть вежливым, — разговор-то неофициальный, вот мне и не хотелось разговаривать в официальной обстановке.

— Тем не менее вы в мундире, — заметил ему отец.

Джо Коллинз в 1937 году все еще носил старинную форму австралийской конной полиции: белые лосины, черный мундир, черные сапоги и остроконечную каску. Была у него и верховая лошадь, и каждый год, во время торжеств по случаю Дня АНЗАКА, который у нас больше любого церковного праздника походил на религиозную церемонию, Джо возглавлял парад ветеранов войны, красуясь на великолепной кобыле, точно сошедшей с картины Жерико; как-то раз, испугавшись городского оркестра, она прынула вбок и едва не сломала себе хребет, но ее спасло то, что Джо был первоклассным наездником.

Конный полицейский едва ли может служить символическим образом Австралии: ведь даже в «Вальсе Матильды», подлинном австралийском гимне, выражены не слишком ласковые чувства скваттеров по отношению к конной полиции. Но Коллинза вдохновляла эта фигура старинного блюстителя порядка. Жестокий самодур, пока в седле, он, спешившись, превращался в труса, и мы все разделяли высокомерное презрение, с которым относился к нему отец. Однажды Коллинз пытался задавить отца копытами своей лошади; это было, когда отец вместе с клендом, шотландцем-ломо-виком, шел выручать двух лошадей последнего, незаконно задержанных полицией. Перепуганный шотландец едва успел увернуться от копыт, но отец и не подумал бежать. Он наотмашь ударил по лошадиной морде и крикнул Коллинзу:

— Я вас привлеку к суду за превышение власти, данной вам соизволением ее величества королевы Виктории...

Ни от кого другого Коллинз бы этого не стерпел, а тут пришлось стерпеть: он понимал, что на суде отец из него котлету сделает при помощи законов, по части которых он дока и с которыми обязаны считаться даже судьи.

— В мундире-то, может, и правда не стоило, — пробурчал уязвленный Коллинз. — А я вот насчет чего: отдали бы вы Локки его корыто...

— Какое корыто? — спросил отец.

— Известно, какое... Корыто, которое было в доме, что сгорел.

— Вы что же, хотите сказать, что это корыто находится у меня?

— Кто-то его взял, мистер Квэйл. Локки сказал мне...

— Том! — крикнул отец. — Иди сюда с блокнотом и карандашом, будешь записывать все, что здесь говорится. — Он снова обратился к Коллинзу: — Если вы обвиняете меня в похищении корыта, Коллинз, имейте в виду, что у нас существуют законы, карающие не только за клевету, но также за оскорбительные и порочащие высказывания. Том, записывай каждое его слово! — Так вы же отдали это корыто на анализ.

— На экспертизу, — презрительно поправил отец. — Да, у меня имеется заключение специалистов, касающееся этого корыта. У меня имеются все фактические данные.

— А корыто где?

— Том, запиши! Косвенное обвинение в укрывательстве. По собственному его утверждению, он явился сюда в качестве частного лица. Скажите, Коллинз, на каком основании вы требуете, чтобы я указал вам, где находится оцинкованное корыто Локки Макгиббона? В ваших же интересах не советую вам продолжать разговор об этом корыте.

— Тьфу, черт! С вами говорить — все равно что воду в ступе толочь! — не сдержал Коллинз вспышки беспомощной злости.

— Том, запиши!

Отец явно тешился этой сценой, да и мы тоже. Бедняга Коллинз! Никто его не любил, даже Локки, у которого полгорода было в приятелях. Вероятно, Локки просто подкупил его или пригрозил выдать какой-нибудь его грешок. А, между прочим, сын Коллинза, прозванный Громовержцем за свою страсть к электротехнике, пользовался всеобщей симпатией. Это был славный мальчик, очень добрый и порядочный; впоследствии его увлечение электротехникой миновало, он принял духовный сан, и, наверно, из него вышел отличный священник и первоклассный крикетист.

— Винават я, что ли? — почти жалобно сказал Коллинз. — Ведь я только...

— Вы только исполняете свои обязанности, — договорил за него отец. — Но в ваши обязанности вовсе не входит врываться в частный дом под предлогом служебного дела и беспокоить и оскорблять подданных ее величества королевы, обвиняя их в нечестных и противозаконных поступках...

Тут Джо Коллинз не выдержал и обра-



тился в бегство; готов поклясться, я слышал, как он скрежетал зубами, убегая.

— Молодец, папа! — великодушно признал Том, когда мы все вернулись в столовую.

— Пфа! — Своим любимым междометием и небрежным взмахом руки отец хотел показать, что не считает одержанную победу чем-то заслуживающим внимания. — Тут и закон ни при чем, — сказал он, словно Коллинз не стоил того, чтобы в споре с ним прибегать к авторитету закона. — Одни слова.

Но мать посмотрела на него с грустью и сказала:

— Эдвард Квэйл, когда-нибудь этот человек подстережет тебя в темном переулке и убьет.

— Если я сам не убью его раньше, — спокойно возразил отец, и это были самые крамольные слова, какие я от него в жизни слышал, ведь они выражали намерение пойти против закона, а это для него было почти то же самое, что пойти против бога.

— Силен папа, — снова сказал Том.

— Чтоб я не слышал здесь этих словечек! — прикрикнул на него отец, торопясь строгостью уравновесить проявленный вкус к потехе.

Выражение «силен» было в ходу у коренных австралийцев, а нам не разрешалось дома пользоваться выражениями такого рода. Отец любил повторять вслед за Эдвардом Гиббоном Уайкфилдом, что язык австралийцев — это испорченный жаргон английских воров, и нам с Томом приходилось вести двуязычное существование: дома мы разговаривали на хорошем английском языке, а с товарищами, когда не слышал отец, — на «воровском» жаргоне. Впрочем, с годами у самого отца стало проскальзывать в речи что-то австралийское, хоть он бы взвился до небес, скажи ему кто-нибудь об этом.

После посещения Коллинза стало ясно, что Локки встревожен и, может быть, даже немного растерялся. Но отцу для полноты

составленной им картины не хватало одной детали, и эту деталь должен был установить Том — Том, который теперь каждый вечер обнимался с Пегги Макгиббон за рубкой Финна Маккула-старшего.

Отец хорошо знал наш город, знал, что Локки пользуется общей симпатией (пусть не всегда искренней), и потому пока больше не искал свидетелей против него. Он выжидал, и это было разумно; в первые дни любой из соседей Локки или из членов добровольной пожарной дружины на вопрос о причине пожара ответил бы так, что Локки вышел бы чист, как стеклышко. Но время шло, и по городу поползли слухи о каких-то таинственных письменных показаниях и химических анализах. Слухи становились все упорней, и уже меня на улице окликали приятели: «Эй, Кит! Как там дела с корытом?» Мало-помалу все уверовали в то, что у отца есть в руках серьезные доказательства виновности Локки, а раз так, каждый бы поостерегся без достаточных оснований утверждать противное. Словом, тактика отца оправдала себя, слухи сделали свое дело, и можно было приниматься за соседей и пожарных.

Теперь уже непохоже было, что Локки выйдет чист, как стеклышко. Пожарные, которых расспрашивал Том, давали уклончивые ответы, настолько уклончивые, что их нетрудно было истолковать как прямые указания на Локки как на виновника поджога. В Австралии крупные компании по страхованию от огня, вроде Австралазийской, обычно субсидируют добровольные пожарные дружины, и сент-хеленским пожарникам вовсе не хотелось навлечь на себя неудовольствие шефов. Брандмайором был у нас тогда булочник по фамилии Смит, а по прозвищу «Бицепс» — здоровенный дядя, уверявший, что, когда он напрягает бицепсы, они у него скрипят так, что слышно. И вот Бицепс первым признал, что, судя по всему, пожар начался в той части дома, где расположены хозяйственные помещения, и притом не наверху, а внизу.

Сосед справа, больной драпировщик, которому Локки не раз оказывал одолжения — но по странной случайности это делал и мой отец, — также высказал мнение, что загорелось где-то сзади, вроде бы в ванной или в чулане. Он даже слышал ночью, как что-то громко пыхнуло, будто сразу запылал сильный огонь. Вопросы были поставлены Томом так, как его учил отец. Оба показания опровергали слова Пегги насчет того, будто пожар начался с крыши, и было ясно, что люди опасаются попасть впросак, если отец потом будет допрашивать их на суде как свидетелей.

А у Тома все хуже и хуже становилось на душе.

Однажды вечером он стал уговаривать Пегги вместе с ним переплыть реку и отправиться побродить по Виллабонгу. Заросли буша на той стороне были любимым пристанищем Тома — тихой обителью, где можно было на время укрыться от города и всего городского. Но Пегги заявила, что он с ума сошел.

— А почему, собственно? — вскинулся он.

— Потому что на это нужно не час и не два. Меня хватят дома.

— Надоед этот город, хотя бы какое-то время его не видеть, — недовольно проворчал Том.

— Милый! — шепнула Пегги и поцеловала его.

Если такая девушка, как Пегги, говорила вам «милый» наедине, да еще темным вечером, это в те годы было почти равносильно любовной близости. Наверно, Том, услышав это, готов был не переплыть, а перепрыгнуть реку от счастья. Но сам он все же не решился выговорить «милая».

— Пег, — сказал он, — не могу я больше выносить это.

— О чем ты, милый? — ласково проворчала Пегги. Они сидели, прижавшись друг к другу, под перечным деревом, и вечерняя музыка цикад, светляков, лягушек, всплесков рыбы в реке, лая собак и доносившегося издали женского смеха аккомпанировала их разговору.

— О наших отцах — твоим и моим.

Пегги, мечтательно прикорнувшая на плече у любимого, который вопреки своей воле всем телом преступно тянулся к ее телу, сразу выпрямилась; нарождавшейся в ней любовной истомы как не бывало.

— Не желаю разговаривать об этом, — резко осадил ее Том.

Том беспомощно развел руками и продекламировал унылым голосом:

Мы забыли Честь и Совесть,
О Любви нам не мечтать...

— Это еще что? — Пегги не воспитывалась на киплинговских ритмах.

— Дело принимает скверный оборот, — сказал Том.

Пегги встала, вытянула длинной рыжей гривой. — Знаю! Но не надо об этом говорить. Я не хочу.

— Говори не говори, от этого ничего не изменится, — решительно сказал Том.

— Ну хорошо! Тогда скажи: зачем твоему отцу понадобилось травить моего?

— Да они давно друг друга терпеть не могут, — сказал Том. — А зачем Локки делает столько глупостей?

— Не знаю, Том, — печально сказала Пегги. — Наверно, это у него само собой получается.

Они помолчали.

— Напрасно он в ту ночь приезжал сюда.

— В какую ночь? — спросила Пегги.

— Да в ночь пожара.

— Он и не думал приезжать! — возмутилась Пегги. — Его тут и близко не было. Он всю ночь провел в Нуэ...

— Но...

Том мне после говорил, что попросту не поверил в искренность ее слов. Решил, что она поддерживает эту ложную версию, потому что так нужно для Локки, и не стал настаивать. Как преданная дочь, она защищала отца. Но так или иначе, она отказалась продолжать разговор на эту тему.

— Больше ни слова об этом не скажу, —

заявила она. — И ты не смей. Слышишь? Я тебе запрещаю.

— Ладно, — сказал он. — Но все-таки...

— Нет! — крикнула она.

Том замолчал и снова обнял ее. Что им еще оставалось? Но впоследствии, в свете всего, что произошло, он горько пожалел, что в тот вечер не довел разговор до конца.

На следующий день отец дал Австралийской компании совет отказать Локки Макгиббону в выплате страховой премии на том основании, что пожар возник при неясных и подозрительных обстоятельствах. Имеются данные, позволяющие предполагать «небрежность, граничащую с недобросовестностью», и можно считать установленным, что со стороны страхователя были допущены «обдуманные, намеренные или сознательные действия, кои могли повести к уничтожению означенного имущества в противоречии с законом». Компания совет приняла, и отец составил письмо, которое Дормен Уокер должен был вручить Локки. Но на передачу материалов в прокуратуру штата компания не согласилась. Пока, во всяком случае. Насчет этого компания намерена была еще подумать.

Итак, Локки получил передышку, но, зная своего отца, я не сомневался, что, если он сочтет юридически необходимым и морально правильным передать властям имеющиеся у него документы, он это сделает, хотя бы даже с риском испортить свои деловые отношения с крупными страховыми компаниями. Впрочем, он тоже не спешил: должно быть, ему неприятно было преследовать человека, имея перед ним столь явные преимущества.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

На свою беду, Том и Пегги чересчур доверились наступившему затишью и стали менее осторожны; впрочем, рано или поздно кто-то неминуемо должен был увидеть их вместе и пустить по городу одну из тех сплетен, без которых почтенные сент-хеленские граждане просто не могли существовать.

У меня в ту пору шел легкий флирт с Грейс Гулд, дочерью начальника железнодорожной станции. Грейс была едва ли не самой хорошенькой и приятной девушкой в городе, но я не позволял себе увлечься всерьез: слишком сильно была во мне вера, что судьба готовит мне иное и лучшее будущее, чем прозябание в захолустном городке, и я не хотел себя связывать. Грейс мечтала о профессии врача, но на университет не было денег, и она училась на курсах Управления сельского хозяйства, готовивших ветеринаров и зоотехников. Со мной она держалась строго, не разрешая никаких вольностей, но я не догадывался, что ее от меня отпугивает то же, что меня отпугивало от нее: страх и з-з а меня застрять на всю жизнь в нашем захолустье. Она тоже хотела добиться большего — и, вероятно, добилась.

Как-то в субботу, когда мы сидели в кафе «Пентагон» и ели мороженое с фруктами, Грейс вдруг посмотрела на меня своими темными глазами, гармонизировавшими со смуглым, почти оливковым цветом ее кожи, и поведала новость: нашего Тома видели поздно вечером с Пегги Макгиббон под перечными деревьями за домом Маккуила.

— Неужели это правда? — спросила она меня, хитро сощурившись.

— А кто видел? — Из осторожности я предпочел ответить вопросом на вопрос.

— Мой отец, — спокойно произнесла Грейс.

Удар был сокрушительный. Не мог же я сказать, что ее отец врет, хоть я его и недолюбливал, единственно, впрочем, потому, что он был ее отцом.

— А сам-то он что там делал в такой час? — отпаривал я, движимый желанием защитить Тома.

— У него там вентерь на раков поставлен, недалеко от паровозного депо.

Деваться было некуда. Чувствуя всю тяжесть ответственности за каждое произносимое слово, я сказал:

— Да, это правда. Они по уши влюблены друг в друга.

Грейс расхохоталась.

— Вот так история, смешней не придумаешь! — Теперь, после моего подтверждения, ей не верилось. — Что на это скажет твой отец?

— Даст бог, он не узнает.

— Уж наверно, они еще кому-нибудь попадутся на глаза.

— А тогда пусть пеняют на себя, — сказал я.

— Если Локки Макгиббон узнает, он убьет Тома.

— Убьет, — мрачно согласился я.

— Это что же, настоящая любовь? — спросила Грейс с любопытством, всегда побуждающим женщину вымогать у мужчины признание в любви, пусть даже не в своей, а в чужой.

— Самая настоящая, — сказал я.

— Бедный Том, — нежно сказала Грейс, и я понял, что она мысленно представила себе ясные голубые глаза Тома и ей уже хочется за него заступиться. Удивительное дело, ни одна не могла устоять против этих глаз. Ночью, перед сном, я посмотрел на себя в зеркало в надежде уловить хоть тень той невысказанной потребности в ласковой заботе, что так трогает женское сердце, но встретил только прямой, твердый взгляд двадцатилетнего парня, сознающего не без огорчения, что притягательной силы в нем маловато.

Когда я в тот вечер вернулся домой, Том сидел на ступеньках веранды. Я предупредил его, что их уже раз видели и надо быть поосторожней.

— Если дойдет до нашего старика, он тебя проклянет.

— Не твоя печаль, — проворчал Том.

— А Пегги? — не унимался я. — Представляешь, что скажет Локки или, верней, что он сделает, если узнает?

— С кем, с Пегги?

— Да.

— Ох, не знаю. Даже подумать страшно.

— А на тебя он прежде всего натравит Финна Маккуила.

— Не боюсь я Финна, — сказал Том.

— Помни, что Финн не получил джентльменского воспитания, — насмешливо заметил я. — Не советую тебе оказаться случайно к нему спиной.

— Сказано, я его не боюсь, — сердито повторил Том, давая понять, что нечего мне совать нос не в свое дело.

Я понял и прекратил разговор.

Том был не в духе, он только что поссорился с Пегги. Она ожидала, что он придет на субботнее гуляние на Данлэп-стрит — ведь теперь они могли бы сталкиваться невзначай, как слепые бабочки в ночном полете, и украдкой посылать друг другу голубые и зеленые приветы.

Со своего места в кафе я увидел Пегги, как только она появилась на Данлэп-стрит. Сначала она прошла из конца в конец, потом постояла в некоторой растерянности у террасы отеля «Саншайн», где расположился оркестр Армии спасения. Несколько подвыпивших парней из моих бывших одноклассников, подойдя совсем близко, распевали дурацкие песенки на мотивы тех гимнов, которые играл оркестр, но музыканты Армии спасения привыкли к таким забавам (честно говоря, они сами вводили насмешников в соблазн) и перехитрили их, неожиданно перейдя с гимнов на ариозо Ленского из оперы «Евгений Онегин» — «Я люблю вас... я люблю вас, Ольга». Я не уверен, знал ли трубач, выведивший эту мелодию, откуда она и о чем говорит. Скорей всего, не знал. Для него это была просто чудесная музыка. Трубач был музыкант-любитель, по профессии плотник, звали его Фоум. Он был даже не из нашего города, но состоял в Армии спасения, и местное отделение специально импортировало его, чтобы укрепить свой оркестр. Мне кажется, я никогда не слышал ничего прекраснее матово-серебристых звуков его трубы, и в тот теплый голубой вечер, неспешно прогуливаясь с Грейс Гулд по Данлэп-стрит под усыпанным звездами австралийским небом и слушая, как звенят в нашем новом, сегодняшнем воздухе очень старые колокольцы любви из далекой русской помещичьей усадьбы, я чувствовал

себя безнадежно влюбленным в каждую встречную женщину, даже в Пегги, которая с таким укором посмотрела на меня своими зелеными глазами, точно это я был виновен, что Том не пришел.

Все это происходило еще до упомянутой мною ссоры, и Том в это время сидел у Ганса Драйзера и вместе с ним сокрушался по поводу новых печальных вестей из Испании. Антони Иден договорился об «обмене уполномоченными» с Франко, что практически означало признание незаконного правительства чуть не в самый разгар гражданской войны. Этти запротестовал было, но Иден его уверил, что это всего лишь удобный дипломатический ход. Конечно, Ганс Драйзер и Том понимали — равно как и Этти, — что ход действительно очень удобный для Англии, стремящейся к компромиссу с Франко, которого привели к власти немецкие и итальянские бомбардировщики при поддержке иденовской изворотливой политики умиротворения. Старый и молодой сидели в садике Драйзера, ели винные ягоды и мрачно смотрели в даль за Биллабонгом, где им виделось фашистское будущее.

Том мечтал поехать в Испанию сражаться за республику. Старый Драйзер часто рассказывал ему о первых послевоенных годах в Германии, когда на улицы немецких городов вместе с солдатами вышли рабочие — на рукаве красная повязка, за плечами винтовка с примкнутым штыком — и старый, прогнивший строй рухнул; беда только, что через десяток лет он возродился, причем в худшем виде. Когда в 1920 году произносили слово «революция», говорил Драйзер, оно означало не только русскую революцию, но революцию в Европе. Вся Европа пылала тогда огнем революции, и огонь этот горит до сих пор, и враг в 1937 году тот же, только сейчас этот враг готовит разрушительные силы, каких еще не знала история. Том слушал и знал, что наступит время, и он должен будет встать лицом к лицу со всем, о чем толковал старый немец. Он должен будет пойти воевать, чтобы не дать чудовищу пожрать весь мир без остатка. Даже я, намеренно гнавший от себя все подобные мысли, — даже я знал это. Каким-то незащищенным участком мозга я угадывал, что лучшие мои зрелые годы будут отданы войне. И все наши парни, вплоть до последних тупиц и олухов, смутно чувствовали это, но в отличие от других Том знал, почему нам придется воевать и за что.

Все еще полный своими тягостными мыслями, Том поздно вечером встретил наконец Пегги и схватил ее в объятия. Пегги мне впоследствии говорила, что ничего не помнит, ничего не может рассказать об этих первых минутах их встречи; они просто таяли оба и, подтаяв, слеплялись друг с другом — руки, губы, уши, колени, все.

— Где ты пропадал весь вечер? — спросила Пегги, когда они наконец оторвались друг от друга.

— Я был у Ганса Драйзера, — сказал Том.

— У этого противного, грязного старикашки? На что он тебе сдался?

Удар был неожиданный, но Том сумел устоять. Меньше всего можно было назвать Ганса Драйзера грязным. Я иногда видел его за работой, случайно заглянув в паровозное депо, и всегда он оставлял впечатление удивительной собранности, точности и чистоты, даже если весь был перепачкан в мазуте. Это был механик по призванию, страстно влюбленный в свой паровоз.

— Он вовсе не грязный, Пег, — сказал Том, нахмурясь.

— У него мысли грязные, — отрезала Пегги.

У нее было скверно на душе после бесплодной прогулки по Данлэп-стрит, а у Тома было скверно на душе оттого, что он сейчас здесь, в Сент-Хэлен, вместо того чтобы шататься с винтовкой по глыбным, белым испанским дорогам, распевать по-немецки интербригадовские песни и пить андалузское вино прямо из бурдюка.

— Ты неправ, — твердо возразил Том.

— Неправда, неправда... — передразнила она.

— Ганс Драйзер — замечательный человек, — настаивал Том.

— А я не желаю, чтобы ты с ним якшался. Не желаю даже, чтобы ты разговаривал с ним, — решительно заявила Пегги. — Заметь себе, я не шучу!

Том вдруг очутился перед неожиданной дилеммой: любовь или политика, любовь или идеи, любовь или ты сам, каким ты себя считаешь. Положение его усугублялось тем, что в темноте Пегги не видела его голубых глаз. Уж наверно, встретив их беззащитный взгляд, она тут же бросилась бы ему на шею и просила прощения. Но, к несчастью, волнистые облака заволокли луну, и лицо Тома осталось в тени.

— Ведь ты его совсем не знаешь, — сказал Том. — Почему же ты говоришь о нем так?

— Всем известно, что он хочет взорвать всю страну, — возразила Пегги.

— Какие глупости!

Это было неосторожное замечание. В 1937 году у нас представляли себе большевиков по рисункам в «Панче»: бородатый русский детина с неразорвавшейся бомбой в руке. А тут еще отец Флахерти неустанно предостерегал свою паству против Ганса Драйзера, безбожника и приспешника сатаны, который только о том и помышляет, как бы увлечь чистых духом и верующих молодых католиков на гибельный путь богоотступничества.

— Я с тобой перестану разговаривать, если ты будешь ходить к этому старику, — зло выкрикнула Пегги.

Том старался держать себя в руках.

— А что, если бы я сказал тебе: не желаю, чтоб ты ходила в церковь?

— Том!!

— Это то же самое.

— Да ты понимаешь ли, что говоришь! — Пегги поспешно зажала уши руками, чтобы не слышать.

— Для меня это то же самое.

— Я тебя больше не люблю! После таких слов я не могу тебя любить!

— Но ведь правда, для меня это совершенно то же самое, — уже с отчаянием повторял Том. — Клянусь честью...

— Ужас, ужас! — Потрясенная Пегги отвернулась и, точно слепая, побрела прочь. Но, не успев отойти и на несколько шагов, она нос к носу столкнулась с Финном Маккуилом. В пылу ссоры они с Томом забыли свое правило: все время прислушиваться, не идет ли кто по тропинке.

— Пегги! — крикнул Финн. — Лопни мои глаза! Что ты здесь делаешь?

С перепугу и злости Пегги влепила ему затрещину, но Финн был настолько пьян, что лишь глупо захихикал.

— Посмей только заикнуться моему отцу, — прошипела Пегги. — Я тогда расскажу все, что мне про тебя известно, так и знай.

И она стремглав побежала вверх по тропинке.

Тогда, словно призрак в железных доспехах, из темноты вынырнул Том. Финн, оглушенный, одурелый, только видел, как мелькнули чьи-то ноги, чьи-то кулаки, но кто это был... неужели... или ему показалось? Нет, Финн так и не узнал никогда, что с ним произошло в эти несколько секунд.

Том догнал Пегги уже в конце тропинки.

— Пег, выслушай... — начал он.

— Нет!

Но они уже вступили в круг света от уличного фонаря, и это, должно быть, решило дело, потому что Пегги увидела лицо Тома и не выдержала. Она сама не помнит, как это случилось, знает только, что в следующий миг она уже рыдала у Тома на груди, а он утешал ее, бормоча что-то бессвязное. И лишь секундой спустя они, опомнившись, поняли, что открыли себя перед всем городом, открыли свою любовь, и Пегги бросилась бежать со всех ног и без оглядки бежала до самого дома. А Том еще долго стоял в оцепенении, не зная, как ему перекинуть мостик через новую пропасть, разрывшуюся между его совестью и его любовью.

Продолжение следует.

Перевод с английского
Е. Калашниковой.

Мы получили пригласительный билет: «Театр юных москвичей Московского городского Дворца пионеров и школьников приглашает Вас на спектакль «Гуси-лебеди» в исполнении детского оперного театра Чкаловской средней школы № 12 г. Щелково, Московской области».

Приглашение было заманчивым: не так уж часто встречаются детские оперные театры, к тому же школьные, и тому же областные. А театр этот — ветеран.

Еще в 1957 году учитель пения школы № 12 Виктор Николаевич Чепуров поставил оперу «Гуси-лебеди».

Вся школа принимала участие, всем хватало дел — и антрактам, и художникам, и музыкантам. Учитель рисования собрал энтузиастов своего предмета. А Виктор Николаевич объединил учеников музыкальных школ и создал небольшой оркестр.

И вот, как в лучших профессиональных театрах, спектакль «не сходит с афиши». Три состава сменялись за это время. Участие в нем всех школьников стало традицией. Ведь у театра, поставившего с тех пор уже 14 опер, нет дотации — полное самообслуживание. И не только «само».

Узнали об этом спектакле болгарские пионеры и прислали письмо: так, мол, и так, хотим тоже поставить детскую оперу, пришлите, пожалуйста, ноты и сценарий деноаций. Хватились, а нот в магазинах в это время нет. Взяли ребята нотную бумагу, разложили илабир и аккуратно ноту за нотой, диз за дизом все переписали. И оформление новое сделали, не поленились. А потом такая же просьба пришла из Ханасии, а потом — из Чехословакии... Вместе с нотами посылали письма, завязывалась переписка, возникала дружба.

Теперь уже ноты шли в обе стороны. И в репертуаре щелковских школьников появились болгарская детская опера «Волшебный сон», чехословацкая «Юрочкин сон»...

И тот и другой «сон», как и все прочие оперы, исполняли ребята всех возрастов — от первоклашек до выпускников: эстетическое воспитание в любом возрасте полезно. Проблема возраста антеров возникла тогда, когда театр щелковской детворы был приглашен для показа спектакля в Чехословакию. Конечно, это были не первые их гастроли — много ездили по области, играли не раз в Москве, но это же другая страна. Как поведут там себя 10-летние полпреды? Ведь рядом нет мамы, и некому напомнить ни о том, чтобы лишний раз вымыть руки, уши, шею, причесться, переодеть рубашку и совсем-совсем не есть мороженое...

Когда приехали в городок Жарновицы, их встречали на вокзале и сразу разобрали ребят по домам, по семьям... А через час-два и Виктору Николаевичу стали приходить огорченные представители семей, которым не достались советские ребята. «Девочка моя очень плачет, — говорила та или иная мама, — и нам не попали ваши артисты, может, кто-нибудь еще остался?»

Гастроли были насыщенными. Выступали по два-три раза в день. Ребята играли и пели так хорошо, как никогда, — рассказывает Виктор Николаевич. — И вели себя идеально: за всю поездку никто ни разу не опоздал, никто не получил ни одного замечания. А спектакли порой начинались в 8 часов утра. И актеры приходили подтянутые, чистенькие, аккуратные — чувствовали личную ответственность.

Показывали оперу «Гуси-лебеди» и в Братиславе и в Праге, и всюду находили самый горячий прием: маленькие певцы из Подмоскovie.

Недавно театру исполнилось 10 лет. Юбилея получили письмо Дмитрия Борисовича Кабалевского. «За эти 10 лет, — писал он, — вы провели очень большую полезную и увлекательную работу. Занимаясь сегодня искусством, вы не только учитесь понимать и больше любить само искусство, но и готовите себя к вашей будущей деятельности, кем бы вы потом ни стали».

И. ВЕРШИННИНА

Опера «Гуси-лебеди» в исполнении учеников Чкаловской средней школы № 12. Машенька — семиклассница Наташа Карасева.

Фото И. Тункеля.





Сцены из оперы «Гуси-лебеди». Музыка Ю. Вейсберг. Стихи С. Маршака.



Художественный руководитель школьного оперного театра В. Н. Чепуров.



Могут ли люди моего поколения, выросшие и ставшие взрослыми уже после Октябрьской революции, представить себе во всей реальности то гигантское воздействие, которое она произвела на истерзанное войной человечество 1917 года?

Мы уже не застали того времени, когда на карте мира были одни только капиталистические страны и их колониальные владения. Вся наша жизнь протекала под знаком того, что существует первое в мире государство победившего социализма, и сам этот факт стал важнейшим двигателем исторического развития.

Нам нелегко поэтому до конца ощутить обстановку того времени, когда группа великих империалистических держав безраздельно правила планетой, ввергая человечество в истребительные войны, подчиняя себе и угнетая сотни миллионов колониальных народов. И все это с полной безнаказанностью, при отсутствии хотя бы единственной социалистической страны, которая бы бросила вызов их кровавому и жестокому господству.

Малодушным и безвольным людям казалось до 1917 года, что система капиталистических государств, с их огромными армиями, разветвленной сетью полиции и сыска, с безраздельным контролем над информацией и пропагандой, с господством мультимиллионеров в экономике, что эта система вечна, непоколебима, непобедима. Да и сами империалисты никогда не поверили бы, что может возникнуть сила, способная сокрушить их мировое господство.

Однако и до 1917 года существовали смелые духом, прозорливые и преданные великой идее люди, которые не испытывали страха перед могуществом капитала, которые понимали, что он безнадежно болен и раздираем тяжчайшими противоречиями. Они твердо верили в способность людей труда разрушить до основания старый мир насилия и угнетения и построить новое общество — свободное, справедливое, светлое.

Мы, послеоктябрьское поколение, в вечном, неоплатном долгу перед этими непреклонными борцами за трудовое человечество, в какой бы стране они ни делали свое благородное дело.

Эти войны революции бесстрашно сражались в подполье. Это были герои, возглавлявшие мучительно трудную освободительную борьбу народов колоний, осужденных поработителями на вечный рабский труд и вымирание.

Эти борцы возглавляли стачки на заводах, становились во главе крестьянских восстаний, гневно разоблачали с трибун парламентов грабительские цели империалистических войн, звали солдат всех народов, всех религий и любого цвета кожи не проливать кровь своих братьев по классу.

И в самых первых рядах мировой революционной борьбы шли русские большевики во главе с Лениным, которые терпеливо, упорно, настойчиво ковали основной инструмент революции — коммунистическую партию, боевой авангард борющегося рабочего класса. Они не только ясно видели путь к победе социалистиче-

ПОЛВЕКА НОВОЙ ИСТОРИИ

Джордж МЭТЬЮЗ,
главный редактор газеты «Морнинг стар»

ской революции, но и умели соединить различные потоки народного возмущения в единое мощное движение, способное уничтожить существующий строй. Неустанный труд большевиков во главе с Лениным, их верность делу рабочего класса, их самоотверженность и готовность на любой подвиг во имя торжества социализма — вот что привело к победе Октябрьской революции.

Октябрь был подобен титанической грозе, разразившейся над миром. Он посеял панический страх в стане врагов рабочего класса, а в людях труда породил сознание собственной силы.

Перелистывая сегодня пожелтевшие от времени страницы старых английских газет, можно ощутить смесь злости, растерянности и нежелания верить в совершившееся. Эти чувства охватили хозяев капиталистического мира и их дипломатических политических прислужников.

Незадолго до революции, в декабре 1916 года, в Россию был послан член британского военного кабинета лорд Мильнер. Целью его миссии было «изучить обстановку на месте». По возвращении он уверенно заявил в официальном отчете, что «в России революции не будет».

В самом конце декабря 1916 года лондонская «Таймс» писала: «Главная суть — в простоте русского мужика... Этот мужик, с его извечной привычкой к повиновению и беспрекословным преклонением перед царем, представляет собой более надежный материал, чем лучше обученные войска других государств». «Русскому Томми! не на что жаловаться», — продолжала «Таймс». «А если бы и были у него причины для недовольства, — заключала газета, — ему все равно чужд дух революции».

Удивительно ли, что после подобных иллюзий правящие круги

Запада ни за что не хотели поверить, что революция в России все-таки стала реальностью.

Довольно характерны горькие жалобы, которыми разразились после победы Октября держатели облигаций царских внешних займов. Один из них выступил весной 1918 года со следующим заявлением:

«Если бы кто-либо из нас год или два назад предположил, что Россия может оспаривать свои обязательства по внешним долгам, — этого человека назвали бы глупым паникером. А если бы он пошел дальше и стал предсказывать, что в России может быть объявлено об аннулировании этих обязательств, его просто сочли бы сумасшедшим».

Даже через три года после Октября Уинстон Черчилль, которого на Западе всегда восхваляли как образец дальновидности в политике, писал: «Пусть большевики отбросят свой коммунизм... Если они этого не сделают, ничто не спасет Россию вместе с ее городами и селами и со всем ее экономическим и научным аппаратом». Ныне, когда мир узнал о посадке советской космической станции на Венере, это пророчество Черчилля и впрямь звучит как бред сумасшедшего.

Октябрьская революция... Ярость, страх, бессмысленные надежды на возврат к старому — в лагере буржуазных лидеров. И радость, уверенность, воодушевление — среди миллионов трудящихся во всех странах мира. Для пролетарских революционеров всей планеты — подтверждение всегда согревавшей их веры в то, что рабочий класс и его союзники возьмут в конце концов верх в исторической схватке с силами угнетения и реакции.

Октябрь посрамил пессимистов и капитулантов и оправдал оптимизм настоящих революционных борцов. Повсеместно массы трудящихся начали пополнять ряды подлинно пролетарских коммунистических партий. Ныне среди этих боевых партий рабочего

класса есть такие, которые довели трудовые массы своих стран до победы, до свержения строя капитала и построения социализма.

Годы, прошедшие после Октябрьской революции, были бурными, трудными, нередко грозными годами: грандиозный экономический кризис тридцатых годов с его десятками миллионов безработных; зарождение и приход к власти фашизма, ввергнувшего в тяжкие несчастья народы Италии, Японии, Испании, Германии; навязанная гитлеровским фашизмом человечеству вторая мировая война, стоившая больше крови и разрушений, чем все войны прошлого.

Но человечество увидело также сокрушительный разгром германского фашизма, грозившего поработить на долгие годы народы Европы. Историческая заслуга избавления человечества от фашистской тирании принадлежит Стране Октября, Советскому Союзу, его героическому народу.

Мир увидел также, как в результате этой победы Советский Союз перестал быть единственной страной победившего социализма. В мире возникло мощное содружество народов, положивших конец власти капитала, вступивших на путь строительства социалистического общества.

Мир видит, как империализм больше не в состоянии держать в кабале и подчинении колониальные народы. На огромных просторах Африки и Азии они уже сбросили колониальное иго. Империалисты ведут сейчас отчаянную борьбу за то, чтобы сохранить хотя бы остатки своего колониального господства. Однако народы, обретшие независимость и дающие отпор посягательствам неоколониализма, не одиноки. Они получают широкую и бескорыстную помощь и поддержку от Советского Союза и других социалистических стран, и в этом — залог окончательной победы народов над империалистическими силами.

Соотношение сил в мире решительно изменилось в пользу социализма и национально-освободительного движения. Империализм еще силен, еще опасен, он еще может в своей отчаянной ярости причинить человечеству тяжкие беды. Но он уже не может безраздельно определять ход исторических событий. Каковы бы ни были трудности, каковы бы ни были временные неудачи и отступления того или иного из борющихся народов, главное направление исторического развития определяется мировым социализмом.

Мысленно обозревая великие успехи, одержанные социализмом за полстолетия, мы с особенной силой ощущаем жизненную необходимость прочного единства коммунистических и рабочих партий всех стран. Коммунистов всегда отличал интернационализм. Они всегда действовали в духе своего революционного гимна: «С Интернационалом воспрянет род людской».

Лучший способ отпраздновать 50-летие Октябрьской революции для коммунистов всего мира — это удесятерить усилия в борьбе против империализма, всемерно укреплять интернационализм и единство всех сил, борющихся за мир и социализм.

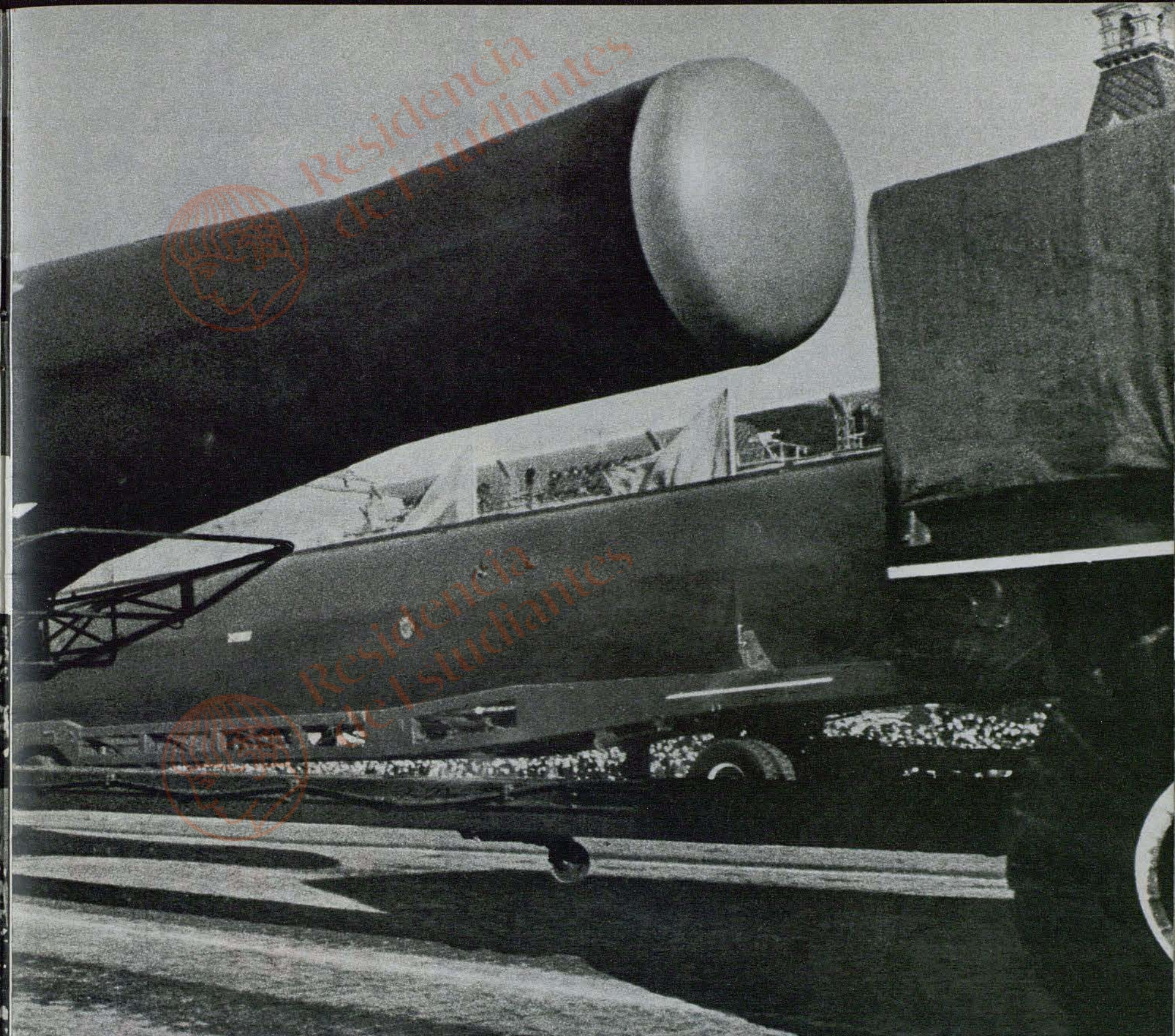
Перевел с английского
Л. ЧЕРНЯВСКИЙ.

ПАМЯТНИК ЭПОХЕ

1 ноября 1967 года на площади 50-летия Октября был торжественно заложен первый камень на месте, где будет воздвигнут монумент в честь 50-летия Советской власти.

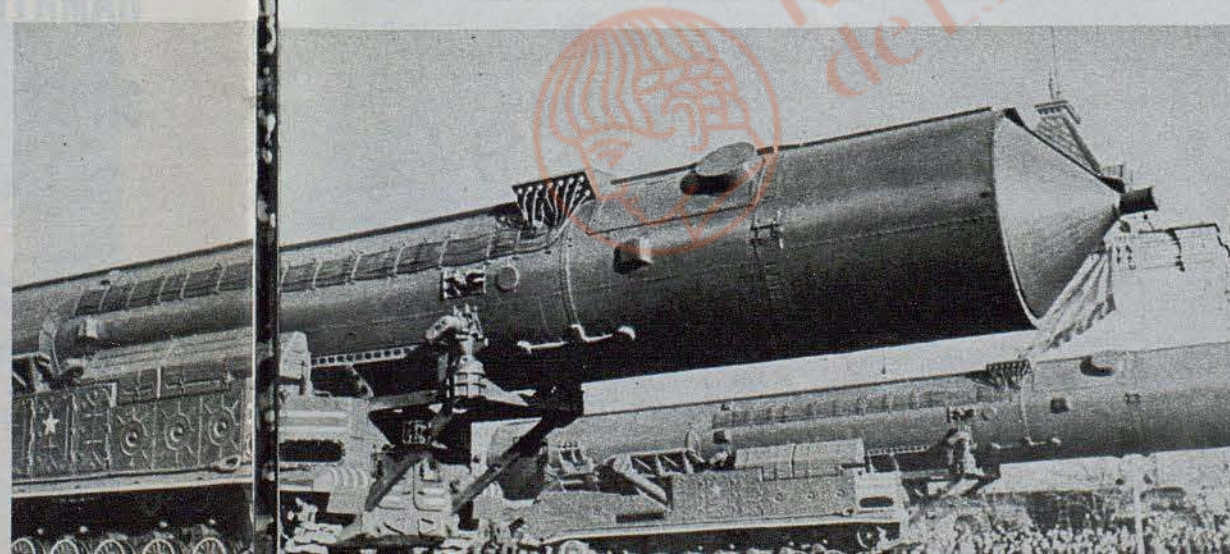
Фото О. Кнорринга.





МОСКВА. КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ. 7 НОЯБРЯ 1967 ГОДА

Фоторепортаж вели корреспонденты «Огонька» Н. Аняшев, Д.м. Бальтерманц, Л. Бородулин, А. Бочинин, А. Гостев, Г. Копосов, Г. Макаров, М. Савин, Е. Умнов, Л. Шерстеников.





Киев.



Алма-Ата.



Ташкент.

Фотохроника ТАСС.



Баку.

7 НОВАЯ 1967 ГОДА

Минск.

Новосибирск.



Таллин.



Тбилиси.

Краснодарский край, колхоз «Кубань».





Прага.



София.

7 НОЯБРЯ 1967 ГОДА



Париж.



Слободан МАРКОВИЧ

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ

...С наброшенной на шею петлей произнес ее немеркнувшее имя, в нем звучит: «Свобода!..» Огонь сжигает лед и гонит прочь мороз. И сердца узника коснулся луч восхода.

На стенах камеры, под сводами тюрьмы начертано ее сияющее имя — оно разит, как свет, гнет беспробудной тьмы, мир озарив лучами огневыми.

Когда на площадях восстание бурлит и свой смыкает строй рабочая планета, все это добрый знак, что кораблей рули повернуты туда, где всем достанет света.

Повсюду на земле шумит ее посев, над полем без межей склонились люди-братья, и новой песни слышится запов и богача угрюмого проклятье.

Вот грузчики бредут по пристани, пыля, матросы, рыбаки... У всех ее походка, и от шагов ее колеблется земля, она все зло земли громит прямой наводкой.

Несокрушимо высится она, нетленен камень стен ее огромных, и, словно щит, надежна и прочна ее большая крыша — кров для всех бездомных.

И кажется, из щедрых недр ее рождается само живительное солнце, и всей земле дарит оно тепло свое и светит людям в каждое оконце.

И справедлива, как родная мать, что делит хлеб ребятам в год голодный. Не будь ее — и я не смог бы ткать бессонным сердцем чувств своих полотна.

Она — учитель твой, и ты не усташь, шагая рядом с ней, бороться и учиться, и отступает мрак, и гибнут лести и ложь, и нам навстречу будущее мчится.

Она дает нам крылья. День труда крылат. Как будто где-то здесь рожден великий Ленин и знамя красное несет сквозь строй бригад в распахнутую даль грядущих поколений...

Пусть закружится, как водоворот, без края и конца стремительное коло... Вот юность розовая по земле идет, и слышен говор вдоль дорог веселый...

Вот лесорубов дружная семья — сегодня все они как будто стали выше... Горда за внука бабушка моя, хоть новых песен, старая, не слышит...

За спелой нивой — нива, как за валом вал, пшеничные поля, как океан безбрежный... Кипит работа... Кто из вас видал, как спелое зерно в июнь струится нежный?

Шуметь густым лесам, и городам расти, и трубам заводским в небесный свод вонзаться! Взгляни, как вдали бегут широкие пути! На юность приходи полюбоваться!

Крылат наш день и полон вдохновенья. И мысль моя о Ленине, о нем... Гремит прибоем поступь поколенья, рожденного Великим Октябрем!

Перевел с сербскохорватского Яков БЕЛИНСКИЙ.



КУБОК — У «ДИНАМО»

8 ноября в Москве состоялась финальная игра на Кубок СССР по футболу между московскими командами «Динамо» и ЦСКА. В острой спортивной борьбе победу со счетом 3:0 одержали динамовцы.

Фото А. Бочинина.

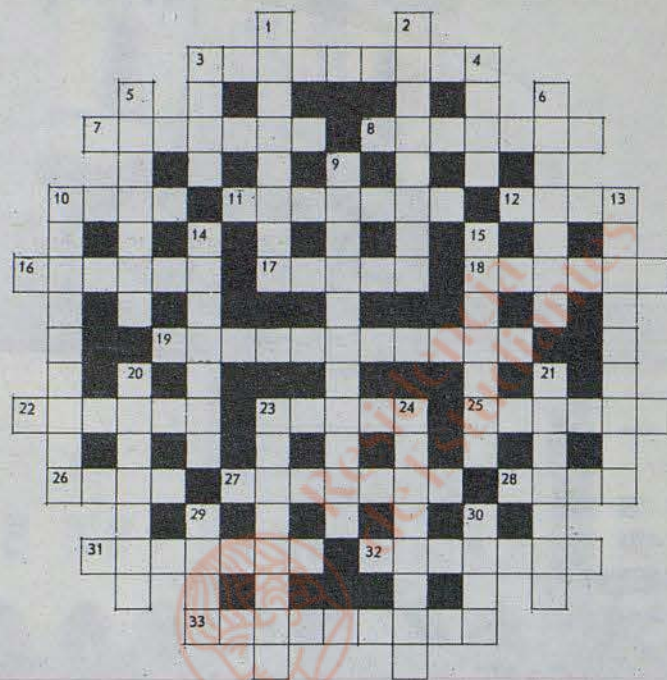


В Москве, в Доме дружбы с народами зарубежных стран, открылась большая фотовыставка журнала «Огонек». Свыше трехсот художественных фотографий повествуют о кипучей жизни нашей страны. Великому пятидесятилетию Октября посвящает «Огонек» свою выставку. На снимке: в одном из залов выставки.

На третьей странице обложки:

Москва салютует Великому Октябрю.

Фото А. Гостева.



КРОССВОРД

По горизонтали:

3. Прибор для измерения электрического напряжения. 7. Приток Оки. 8. Первый чемпион мира по шахматам. 10. Помещение в деревенских избах. 11. Металлический барометр. 12. Подъемная машина. 16. Последовательное изложение событий в художественном произведении. 17. Штат США. 18. Спутник планеты Уран. 19. Запись знаками. 22. Отдых в пути. 23. Форма глагола. 25. Итальянский певец. 26. Один из Японских островов. 27. Советский живописец. 28. Войлок высшего сорта. 31. Персонаж романа В. Гюго «Отверженные». 32. Союзная республика. 33. Спортивные соревнования.

По вертикали:

1. Водная птица. 2. Элементарная частица. 3. Декоративное письмо. 4. Река в Европе. 5. Курорт в Читинской области. 6. Русский поэт. 9. Областной центр в РСФСР. 10. Пролив, соединяющий Северное море с Балтийским. 13. Радиотехническое устройство. 14. Действующее лицо оперы Дж. Россини «Севильский цирюльник». 15. Русская народная песня. 20. Сатирический отдел в журнале «Современник». 21. Кровеносный сосуд. 23. Старая русская мера веса. 24. Советский писатель. 29. Здание для стоянки и ремонта локомотивов. 30. Цветок.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, НАПЕЧАТАННЫЙ В № 45

По горизонтали:

4. Вершинин. 7. Макаренко. 8. Турман. 10. Ангрен. 12. Капелла. 14. Кадриль. 16. «Тронка». 18. Астронавтика. 21. Самара. 23. Гагарин. 24. Реторта. 25. «Марица». 27. Банкет. 28. Викторина. 29. Фонотека.

По вертикали:

1. Дейнека. 2. Циклотрон. 3. Шикотан. 5. Енакиев. 6. Ора-тория. 9. Глоксиния. 11. Балакирев. 13. Арктика. 15. Лауре-ат. 16. Тарас. 17. Астра. 19. Станкато. 20. Смольный. 22. Мордвинов. 25. Мотобол. 26. Антракт.

На первой странице обложки: Орден Октябрьской Революции.

На последней странице обложки: Праздничный Ленинград.

Фото Н. Ананьева.

Главный редактор — А. В. СОФРОНОВ.

Редакционная коллегия: Д. Н. БАЛЬТЕРМАНЦ, И. В. ДОЛГОПОЛОВ (главный художник), Б. В. ИВАНОВ (заместитель главного редактора), Н. Н. КРУЖКОВ, Л. М. ЛЕРОВ, В. Д. НИКОЛАЕВ (ответственный секретарь), И. Ф. СТАДНЮК (заместитель главного редактора), Л. Л. СТЕПАНОВ, Н. П. ТОЛЧЕНОВА.

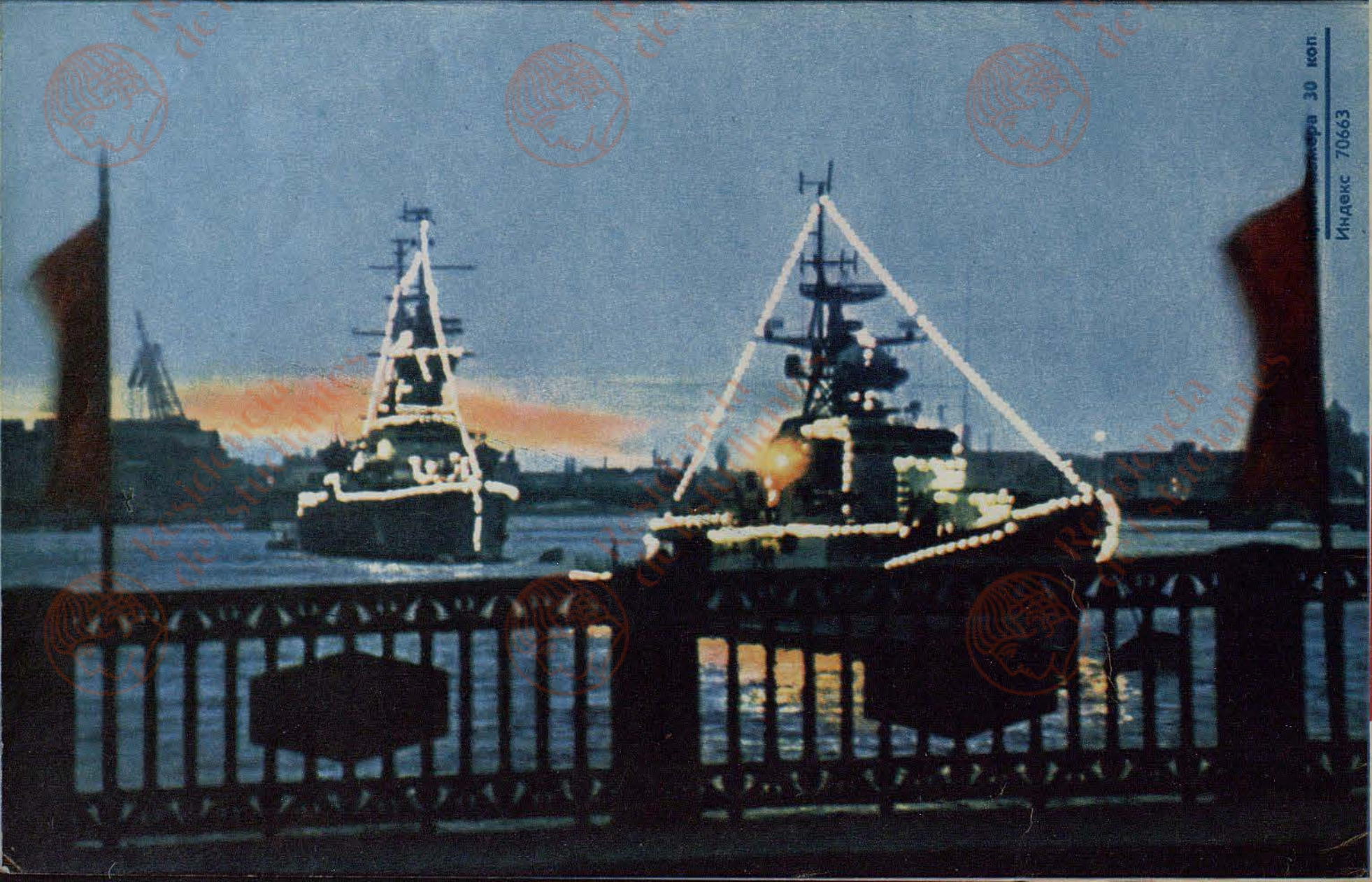
Адрес редакции: Москва, А-15, Бумажный проезд, 14. Рукописи не возвращаются. Оформление И. МИХАЙЛИНА.

Телефоны отделов редакции: Секретариата — Д 3-38-61; От-делы: Репортажа и новостей — Д 3-37-61; Международный — Д 3-38-63; Искусств — Д 0-46-98; Литературы — Д 3-31-10; Очерка — Д 0-15-33; Библиографии — Д 3-38-26; Научи и техники — Д 0-14-70; Юмора — Д 3-32-13; Спорт — Д 3-32-67; Фото — Д 3-39-04; Оформления — Д 3-38-36; Писем — Д 3-36-28; Литературных приложений — Д 3-30-39.

А 00492. Подписано к печати 9/XI 1967 г. Формат бумаги 70×108¹/₈. Усл. печ. л. 7,0. Уч.-изд. л. 11,55. Тираж 2 000 000 экз. Изд. № 2129. Заказ № 3140.

Ордена Ленина типография газеты «Правда» имени В. И. Ленина. Москва, А-47, ул. «Правды», 24.





Камера 30 коп.

Индекс 70663